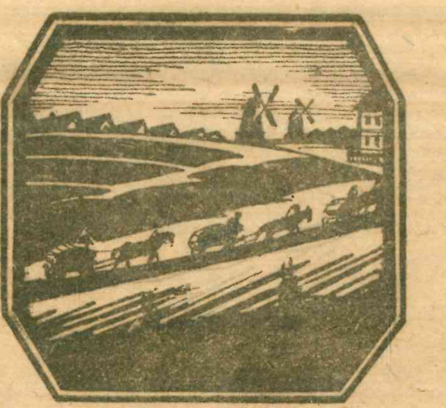
6/571
6/571

М. СИВАЧЕВ

ЖЕЛТЫЙ ДЬЯВОЛ

ПОВЕСТЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1920

18572
S 6/571
S 6/571

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

М. Сивачев.

Желтый дьявол.

ПОВЕСТЬ.

40-9195
ПОГАШЕНО
Публ. библ. им. В. И. Ленина С. С. С. Р.
ф. 32-9139
не выдав
35

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Москва—1920.

Типография Русского Товарищества Печатного и Издательского Дѣла.
Москва, Чистые пруды, Мыльников пер., соб. д. Телефонъ 18-35.

ЖЕЛТЫЙ ДЬЯВОЛ.

(*Повесть*).

ГЛАВА I.

И до войны Аким Петров Боголюб считался мужиком богатым, а во время войны. если судить по капиталу, стал уже не мужик богатый, а купец большой.

Началось с дров: купил дешево 500 саженей, а перепродал их сразу всей партией в три-дорога.

Эту операцию он повторил несколько раз, а когда узнал, что тот, кто покупает у него дрова, наживает еще более его, сам открыл в городе дровяной склад.

Вскоре после дровяного склада—месяца через три—завел он в городе ломовой извоз из пяти лошадей—и это дело оказалось настолько прибыльным и нужным, что увеличил он быстро этот обоз до двадцати подвод.

С дровами было хлопотно: нужно было по временам [illegible] рыскать по уездам и селам, налаживать поставки, [illegible] трепаться по разным местам, добиваясь нарядов на [illegible]оны, с ломовым же извозом шло легко: работал извоз беспрерывно на интендантство, а Акиму только и дела было: с[illegible]ит на дровяном складе и высчитывает, чтобы каждая п[illegible]вода за всеми расходами на лошадь и работника давала ему чистоган в четвертной билет каждый день.

Четвертной билет давался—и так легко, что Акиму уже глупым казалось не получить больше. Стал дорожать овес, хлеб и прочее продовольствие, рабочие руки—Аким делал на это удорожание надбавочки и, после каждой надбавочки чистоган становился все выше.

Так довел—дает ему каждая подвода в день 50 рублей чистого барыша—и остановился; дальше уже небезопасно

было: рассердился раз начальник интендантства и пригрозил Акиму, что если он еще раз заикнется о надбавочке, так посадит он Акима в тюрьму. Аким особенно над этим не горевал. Уже шли от обоза, да от дровяного склада такие барыши, что в иные дни и считать не успевал. И решил Аким в такие дни, что о деньгах довольно думать, что деньги само собой—надо теперь к деньгам приобрести еще кое-что: почет, уважение.

И завел себе для этого поддевку тонкого английского сукна, лакированные сапоги бутылками, часы золотые, рысистого жеребца, за которого дал три тысячи, рессорные дрожки на резиновых шинах, бороду принялся расчесывать на две стороны, как видел у одного первогильдейского купца, напустил на себя степенности и важности и, как будто, почет и уважение стал иметь: прежде наладилась дружба с попом, потом с становым, а затем уже и с помещиком—барином родовитым и чиновным,—чуть не генерал.

И загордился Аким: уряднику брезгливо вместо руки два пальца подавал, на мужиков смотреть не хотел.

Дом себе каменный построил, барскую обстановку в нем завел—все для того, чтобы было где принять попа, станового и помещика, да чтобы было где самому жить. Уж непристойно казалось Акиму жить со всей семьей в старой мужицкой избе, и жил он в новом каменном доме один, никому не разрешая из семьи порога переступать, кроме своей старухи.

Да и той только за тем, чтобы прибрать, да подать.

ГЛАВА II.

И укрепился Аким в мысли, что в холе и довольстве проживет он теперь до самой смерти, что добился он этого только благодаря своей голове и стал он всем и всюду тыкать, что „ежели, мол, кто с умом, то тот завсегда не пропадет“.

Особенно любил Аким сидеть на дровяном складе. Приходили барыни, вздыхали, что слишком дороги дрова, но покорно платили требуемую сумму и просили поскорее доставить дрова. И хотя имелась возможность иногда доставить дрова сейчас же—Аким начинал ломаться:

— Лошадей нет. Заняты. Денька через три, не раньше.

Нравилось ему, что его просят, что перед ним кланяются и благодарят его, если он пообещает доставить дрова на денек пораньше. А больше всего любил Аким, когда приходили офицеры. Он вспоминал при этом про своих двух сыновей взятых на войну, соображал, что офицеры над его сыновьями—начальство, а что ему эти офицеры? Видел он, что большинство **из них** бедны, платят за дрова с трудом, и заводил разговор о том, что дорого стало жить тем, у кого карман не толст. Офицеры соглашались, что действительно трудно жить, что вот, мол между прочим, и дрова черезчур дороги, и тут Аким, не чувствуя, насколько он в это время нагл, никогда не упускал случая сказать, самодовольно и спесиво поглаживая при этом бороду:

— Дороги? Кому как... Ежели кто с умом, то—тому не дороги. Таить не буду. Прямо скажу про себя: я на дровах капитал наживаю. А почему? Купить дешево умею.

Скажет и смотрит: кто как на это взглянет. Если кто взглянет сердито—тому заявит:

— Только вот што: хотите берите дрова, хотите не берите—раньше недели доставить их не смогу. По очереди их доставляю, а очередь большая.

Но сердитых находилось мало. Больше—люди жались, морщились, жаловались, что дров нет, мерзнуть будут и по этому, нельзя ли дрова доставить пораньше, и снисходил Аким, обещая таким покорным, как большую милость:

— Ну, ладно. Уж для вас постараюсь завтра.

И часто, когда на складе никого не было кроме Акима да мальчишки, который был нанят в роде конторщика, Аким сладко жмурил глаза и мечтал, что его настоящее положение это еще не все, что, когда он соберет деньгу большую, тогда бросит деревню и переселится в город не каким-нибудь мелким купчишкой, а таким—силу и могущество которого сразу все заметят.

ГЛАВА III.

Февральский переворот на первых порах Акима сильно смутил и напугал. Сразу стало трудно жить с мужиками в деревне и ладить с работниками в городе: и те, и другие

грубили, дерзили, и угрожали. И боялся Аким всех, ибо знал, что некому его защитить: в городе не было полицейских, в деревне—урядников и становых.

Потом заметил как-то Аким, что угрозы в народе, как будто только пустые слова: только грозят. а зла не делают, что есть в народе какая то большая, великая радость, что вся беднота ждет и верит, что теперь и для нее жизнь наступит,—заметил это Аким и решил, что как был народ прост (а с точки зрения Акима—глуп), так таким простецом и остался, и, что на этой простоте можно выехать.

Поднял голову Аким и принялся действовать. Прежде всего пустил по боку дружбу с попом, и становым и помещиком, стал вертеться между мужиками и добиваться у них расположения.

Трудно было этого добиться, так как еще задолго до войны установилось в деревне за Акимом мнение, как о самом злостном мироеде и кулаке. Знали мужики, что не было у Акима такого случая, когда бы он расстался хоть с одной чужой копейкой: непременно зажилит. И поэтому давно прилипла к Акиму прочно, как фамилия, кличка „Чужбинник"—так прочно, что многие его фамилии или не знали, или забывали.

Знали также мужики и то, что не только жаден на чужую копейку Аким, но еще и не любит и презирает их, по его же словам, как „грязь придорожную". Но зная все это, мужики по своей простоте решили, что послушать то, что будет говорить Аким, все-таки следует, ибо Аким не глупый. А больше всего нравилось мужикам то, что с Акима с переворота спесь как ветром сдуло: такой он стал с ними уважительный, покладистый, уступчивый, даже не сердится, когда ему его грехи напоминают, а кается, что мол, кого бес не путает, и просит прощения.

И заработал Аким тонко. Шла в деревне ломка старого уклада на новый; трудно было темным, непривычным к самодеятельности мужикам разбираться в том, что им предстоит сделать и как сделать, и поэтому случилось то, что всегда в деревне случалось: бедноту обошли кулаки и лодыри—засели в волостных и земельных комитетах.

Аким себя ни в какие комитеты не прочил, но в том, что в комитетах сидят только враги бедноты, его работы

было немало. И вышло так, когда комитеты собрались: нет Акима в комитетах, а действуют комитеты по его указке. И считаться с Акимом начали все: при всех важных решениях первое и последнее ему слово.

И воспрянул духом Аким и стал думать о том, как бы добиться от мужиков не расположения, а побольше: настоящего почета, уважения. И надумал сделать для деревни „добрые дела".

Первое—деревня была немалая, а кузницы в ней не было: нужно лошадь подковать—гони в город за двадцать верст.

Выстроил Аким кузницу, купил для нее все, что нужно, откопал где-то в городе хроменького кузнеца—и заработала кузница. Ведут мужики ковать лошадей, заваливают кузницу заказами—безделица какая-нибудь, а без нее в хозяйстве не обойдешься,—и благодарят Акима за открытие кузницы. А Аким выслушивал эти благодарности, скромно ухмылялся и думал, чем бы еще покрепче опутать мужиков.

Собственно, он уже знал—чем: не было в деревне мельницы и ездили мужики молоть рожь за тридцать верст.

Прикидывал Аким, сколько обойдется постройка мельницы—и чесался: дорого выходило. Но все-таки, в конце-концов, решил, что выберет расход и поехал было закупать нужные материалы, но не купил: прослышал по дороге, что в одной волости мельничиха получила весть, что убит ее мельник на войне, что растерялась баба—воет, что головы не приложит, как с двумя мельницами будет управляться.

Повернул Аким в эту волость. Знал он, что эти мельницы—ветрянки, хороши, что выстроены лет за пять до войны—можно считать почти за новые; знал, что за год до войны давали мельнику за эти мельницы по три тысячи рублей, еще учел, что теперь деньги дешевы и можно за эти мельницы дать тысячь пятнадцать, если мельничиха не окажется дурой.

Но купил дешевле.

Явился к мельничихе, посочувствовал ей на счет мужа, потом обмолвился, что действительно трудно ей бабе, управляться с таким делом и предложил:

— А продай-ка их мне? Жалко мне тебя... теперича, значит, горькую сиротинушку. Знаю я: торговали у твоего по-

койника, царствие ему небесное, эти мельницы... помню, давали по две тысячи за мельницу.

— Нет, по три, а не по две,—возразила мельничиха.

— Брехал тебе твой покойник, али ты запамятовала. Лучше тебя знаю: по две давали. Это тоже — це-на! — сказал так строго, так сурово Аким, что мельничиха и в самом деле подумала, что она действительно „запамятовала". А Аким уж мягко, ласково продолжал:—А я вот... жалеючи тебя, горькую сиротинушку, по шесть тыщь даю за мельницы. Вот как: втрое больше. Живи—не тужи на эти денежки весь век без забот, припеваючи—и в век не проживешь!

В обыденное время уж и мельничиха знала, что дешевы стали деньги, что то, что раньше, до войны, можно было купить за рубль, не купишь иногда теперь и за десять, но тут обалдела: вытащил Аким пачку радужных, отсчитывает все новенькие, шелестит ими, а мельничиха смотрит и кажется ей, что действительно во весь век свой не прожить ей такого богатства.

И грохнулась Акиму в ноги.

— Возьми мельницы, благодетель. Век за тебя с детьми буду Богу молить.

— Ну, ну, чаво там... Жалеючи тебя, теперь горькую сиротинушку! Неграмотная, нябось? Вот то-то... У всех у нас бяда в эфтом... Теперь вот богатейкой станеш—учи детей, не оставляй их, как нас родители наши оставили: пнями темными! Ну, беги, тащи там грамотея какого—дакамент значит, составим, ну и свидетелей там двоих...

Привела мельничиха двоих солдат-инвалидов — один на деревяшке, другой без руки, грамотея—безземельного и бездомного старичишку-кляузника, который только тем и жил, что подбивал всех на судебные тяжбы. Выслушали они Акима, в чем дело, переглянулись и сразу Аким понял, что компания теплая: это ему не глупая баба-мельничиха, эти дело повернуть могут так, что мельниц и не укупишь.

Заговорил первым—на дервяшке:

— Хронтовики мы... Вишь, как нас уму-разуму учили: у меня—ходилки нет, а у этого—держалки. Все отлично мозгуем. Шесть тыщь за мельницу? Сумма, конешно! А все же, к примеру, двуколку возьми... это нас безногих да безруких с хронта возили... Стоила она до войны от силы

полторы красных, а повоевали год-другой—за полтораста ее, эту двуколку-то не купишь... Сумма-то какая—полторы красных и полтораста? Почему такое, в чем тут запятая? Обстоятельно значит сейчас обсудим...

— Тут запятых-то много,—перебил деревяшку безрукий:— То у нас свои мельницы под боком, вы к нам со ржицей в гости пожалуйте, а то мы к вам должны будем ездить — это рассчет немалый!

— Так... так... правильно!—замотал головой грамотей:— Обчественный значит антирес... Ну, а в случае чево, обчество, конешно, может... не желаем, мол, удовольствия к вам преклоняться. Тридцать верст—не три шага.

Посмотрел Аким на мельничиху: слушает баба жадно но пока ничего не понимает. Но ведь может и понять;— главное—насчет двуколок. И поспешил Аким:

— Вот што, братцы! Речи ваши обстоятельные, правильные,—а эфто послушать приятно. Но и меня послушайте. Мельницы я должен разобрать, и перевезти к себе, там собрать, поставить их руками мастеров. Ну-ка, прикиньте: эфто в какую копеечку в'едет?

— Понимаем, отозвался инвалид с дервяшкой:—да только это для нас не касаемо. У нас—наш антирес, у тебя—свой.

— Чаво там из пустого в порожнее лить,—сказал Аким, вынул деньги и, как-будто пересчитывая их, дал понять инвалидам и кляузнику, что даст им по сотне:—Ну, грамотей пиши дакамент: куплены мол, две мельницы за столько то. Скрипи скорей, а то некогда!

— Да заскрипим, когда нужно будет,—ответил насмешливо старик и отодвинул от себя бумагу и чернила:—Дело-то, так сказать, обчественное, подумать хорошенько надо.

Показал Аким, что даст по две сотни, и это уж решительно—больше не прибавит,—переглянулся старик с инвалидами, пододвинул к себе бумагу и чернила и сказал:

— Шесть тыщь—сумма, да немалая! Получай мельничиха, деньгу. Мне за работу по пятерке с обеих сторон. Ну, конешно вспрыски—по бутылочке самогонки на брата. Так? Идет?

И заскрипел ржавым-прержавым пером кляузник на четвертинке бумаги, старательно выводя каракули: „Дакамент расписки, на предмет продажи двех мельниц от вдовы имя

рек Анисьи Боковой имя рек Акиму Боголюбу. За шесть тыщ. Деньги получила сполна, свидетели были имя рек Антон Земцов ихрейтор Иван Киряков руку приложил за не грамотных писарь посудебным делам имя рек Кирил Семенов Горькин. Дакамент расписка законный и правильный ни апаляции ни касации не подлежит".

ГЛАВА IV.

Пока мельницы перевозились и ставились на задах Акимовой усадьбы, верные Акиму люди делали свое дело: только и говору по деревне было, что об Акиме. Уж и цену знали, какую будет брать Аким за помол: самая дешевая цена во всем округе. Еще говорили, что не напрасно разбогател Аким: не будет он, как иные, богатым мироедом — хочет Аким быть радетелем народа и сделает для народа... Что собственно, сделает, об этом говорили смутно, туманно: большой, мол, у Акима капитал и при таком капитале мало ли, что может сделать Аким при добром желании.

К концу сентября мельницы были готовы и в воскресный, погожий день были пущены на первую пробную работу.

Похоже было на большое торжество: вся деревня собралась около мельниц. Были даже речи. Первым говорил председатель земельного комитета — крепкий, хозяйственный мужичек, имеющий земли под шесть десятков десятин, большой пчельник, овцеводство голов в двести, а в иные годы и до трехсот доводил; кроме этого и лошадьми подторговывал — злые языки говорили, что частенько и такими лошадьми, которые прошли через руки конокрадов.

Но говорить все можно; главное — ни разу пойман не был.

Превозносил председатель Акима за открытие кузницы и за мельницы с таким чувством, что и впрямь всем показалось: друг народу Аким.

Под конец председатель от своей речи так умилился, что совершенно искренно слезу пустил и, смахивая ее красным платком, других на свое место пригласил:

— Не могу, православные, больше!.. Одно скажу: друг народу — Аким Петрович, ежели он не наживает с народа, а еще свою трудовую копейку для народа своего из кармана добавляет. Нам дела никакого нет, что он в городе много

наживает... То — с буржуев проклятых, опять же — своим умом работает, а не чужим зашибает деньгу. А за умом всегда денежка тянется: это уже спокон веков известно. И еще известно, что таких людей беречь нужно: им почет, уважение всяческое, потому — карманом он тебя по доброте своей душевной из нужды выручит, а головой, умом значит — золотой совет даст, из беды выведет. Правильно говорю, православные, али нет?

— Правильно! Все как есть! — загудели мужики.

— Ну то-то! Не могу больше. Пусть другие ораторы лучше меня скажут.

Выступали другие „ораторы". И у них хорошо выходило: умнее умного, добрее доброго Аким, поискать такого — так не скоро найдешь.

Выступил и Аким. Скромно и кратко:

— Благодарю, православные, за честь! А на радостях, что хорошо с народом живу, ставлю три ведра самогонки!

Мужики даже ахнули: три ведра, когда бутылка по пятерке продается! Председатель земельного комитета тоже раздобрился: завалил на закуску двух матерых баранов.

И до глубокой ночи пили мужики, ели, в честь Акима „ура" гремели и так качали, что Аким после дня три отлеживался.

И пошел Аким во мнении деревни все в гору и в гору.

Никто уже не смел называть его, как прежде, просто Аким, или „эфтот чужбинник-то", — все даже за глаза, величали его почтительно не иначе, как „Аким Петрович".

Не вся деревня верила в то, что мог так скоро переродиться к лучшему такой человек, как Аким, — многие подумывали и поговаривали, что не спроста прикидывается такой старый волк, как Аким, овечкой, что, вероятно, имеются у него какие-то темные цели, но поговаривали осторожно, боязливо, неуверенно.

А в конце-концов и совсем перестали говорить. Очень уже Аким сумел стать всем нужным. Привозил он из города в деревню, правда, в небольшом количестве керосин, сахар, мануфактуру, кожу, но зато все это старался распределять по деревне без обиды — кому то, кому другое, кому третье и цены на все клал такие, что дешевле нигде не купишь.

Так постепенно росли вес и влияние Акима — и выросли, наконец, до того, что стал Аким в деревне строгим блюстителем нравов. Боялись Акима, как бы он не увидел игры в карты, совестились Акима, если попадались ему в нетрезвом виде.

Непременно пьяненького остановит и строго-строго внушает:

— Эфто што же такое делаешь? Бога не боишься! Ну, туды-сюды выпить в большой праздник. А сегодня праздник? Хлеб переводите на зелье, а тово не вспомните, что нужон он, хлебушка-то, на хронт нашим воинам? Они там с врагом стражаются, а мы тут што выкидываем: самогон пьем, а у их, бедных, слышь, в иные дни и сухарика пожевать нет! Эфто как — по Божески, по людски? Работать надо нам, трудиться неусыпно — работничков-то у нас скольких нет? Вы эфто считали?

Тут уж Акиму против — никто ни слова: просили прощения и зарок давали не пить. Всем казалось, что насчет замечаний о пьянстве Аким имеет неоспоримое право.

Сейчас же, после того, как заработали мельницы Акима, прошел слух, что по деревням вскоре пойдут „ораторы" из города просить мужиков продавать хлеб для армии по твердым ценам и, что мелют мельницы Акима муку для этих „ораторей".

Собрали по поводу этих слухов мужики сход, пригласили на сход Акима и спросили его: давать ли хлеб по твердым ценам?

Кратко ответил на это Аким:

— А эфто, братцы, как кажному совесть велит!

Сказал и ушел со схода. Потолковали мужики после ухода Акима и решили не давать хлеба по твердым ценам: очень уж дешево!

Верно: приехали „ораторы" из города — двое, — и говорили о том, что нужно дать хлеб армии, так убедительно и трогательно, что мужики чесали затылки, иные даже прослезились, а все-таки, когда пришлось „ораторам" ответ держать, уполномочили мужики своего „оратора" заявить, что они понимают, что хлеб для армии нужен, что они его дадут, но только не по твердым ценам, а с надбавкой: рубликов десять на пуд.

Тут и выступил Аким:

— Я вот што: — сказал он скромно, опустив глаза. — В эфтом деле как кажному совесть велит. Я вот недавно мельницы поставил и решил: первая мука с моих мельниц на хронт, нашим солдатикам! Стар я, умирать скоро придется, бедности не имею, а поэфтому... иные прочие как там хотят — по твердым ценам, с надбавкой ли... Мне ничего эфтого не нужно: на таком деле наживать не хочу и поэфтому от чистого сердца жертвую нашим воинам двести пудов муки. И доставку беру на себя, — куда прикажете, туда и свезу. Потому — божеское эфто дело!

Что тут было! Бросились „ораторы" из города к Акиму, руки ему жмут, целуют Акима.

И устыдились мужики: начали отсыпать рожь из своих закутов, кто сколько может, по твердой цене, иные даже по примеру Акима и этой цены не взяли; набрали всего две тысячи пудов и даже свезли туда бесплатно, куда нужно.

Ибо — божеское дело! И после чуть не месяц об этом говорили: уж очень торжественно все это вышло.

И еще знали мужики, что твердо помнит Аким о солдатиках на фронте: каждую неделю приезжали из города подвод пять из собственного ломового извоза Акима, грузились мукой и везли ее на дровяной склад, а с дровяного склада, — точно не знали мужики, куда идет мука с дровяного склада, но слышали, что идет на интенданство. А интенданство отправляет на фронт.

Видели мужики, что полны большие амбары Акима хлебом до верха и утечки как будто нет: нынче поубавится — отгрузят пудов пятьсот на мельницу, а через день-два скрипят-двигаются возы с хлебом к амбарам Акима, и опять они полны до верху. Скупает хлеб Аким и в соседних деревнях, и в своей и за ценой не стоит особенно: посовестит немного, если просят уж очень дорого, а все таки платит.

Видели мужики и то, как кипит Аким в хлопотах, как разрывается между деревней и городом и недоумевающе-одобрительно говорили:

— Вот эт-то дел-ляга! Эфто называется — работает. Прямо уму непостижимо, как везде обертывается: и на мельницы заглянет, и хлеб покупает, и дрова достань-продай, и в

кузне порядок блюди, за ломовым извозом глаз имей — разорвешься, а он вот везде обертывается.

А Аким действительно разрывался: иногда очень уставал. И с каждым днем лютел к своим домашним. Он никому не верил, считал, что чуть где за чужым человеком не досмотри — так сейчас и стащут, и всюду ему хотелось установить крепкий надзор, а этого-то как раз и не удавалось.

Правда, работники с мельницы иногда спускали муку,— понемногу, пуда по три, по пять, но спускали, и изловить некому, клали за небольшие помолы пудов в пять, в десять, когда Аким находится в городе, деньги себе в карман; кузнец сдавал не всю выработку — каждый день рубля три или пятерку зажилит, даже мальчишку-конторщика Аким имел основания подозревать, что продает он в отсутствие Акима дрова дороже.

Сам Аким за всеми усмотреть не мог и поручал смотреть за мельницами и за кузницей своей старухе и двум снохам. И хотя он сознавал, что работники на мельнице и кузнец проводят баб, но кое-что бабы и досматривают. И всетаки не мог удержаться и ругал баб много и злобно каждый день.

А 28-летнего сына Семена, слабоумного настолько, что только поэтому его и на военную службу не взяли, Аким без бешенства видеть не мог. Работать Семена Аким заставлял за пятерых: Семен и за скотиной должен был ухаживать, и по дому следить, и на пахоту он должен ездить, и на мельницах работать, и кузнецу, как молотобоец, помогать и все Семен выполнял хорошо и покорно, но Аким это не ценил. В бешенство приводило Акима в Семене его слабоумие: Семен мог все отдать, что бы у него ни попросили.

Однажды он, когда ему было лет двадцать, будучи в поле, отдал какому-то проезжему мужику лошадь, да и телегу вместе, потом, года через три, послал его Аким в поле сеять — вернулся Семен домой голым: попросил какой-то прохожий бродяга Семена снять с себя для него рубаху — и Семен снял. А дома объяснил:

— У него нет, а у меня еще есть. Ну, я и дал.

Если у Семена, когда он работал на мельнице, кто просил муки, он наваливал себе мешок на спину и говорил:

— Ишь ты!.. Муки надо? Да бери, у нас много. Пойдем, — снесу.

Если кто в кузнице Семена шутя спрашивал:

— А можно за работу не платить?

— Ишь ты... — смеялся Семен — да не плати. У папашки денег много. Куда ему — облопаться, што ли?

Но работая исправно, сколько бы ему работы ни задавали, Семен требовал от отца одного: чтобы его женили. И требовал этого чуть не еженедельно. Он являлся к отцу в наиболее свободное время, становился перед отцом в странной позе— с головы до ног в это время как то особенно мягок, незлобив, но вместе с тем и упрям, несокрушимо упрям,—и твердил всегда одну и ту же фразу:

— Уж ты как хошь, папашка, а жени меня.

Захотел Семен жениться с 25 лет. Прежде Аким смеялся, говорил: „А вот, когда поумнеешь, тогда и женю", но всетаки серьезно подумывал, что дурака женить надо.

Но между делами и хлопотами некогда было Акиму как следует заняться этим, все метался, все хлопотал, деньгу набивая, а чем больше набивались деньги, тем сильнее распалялась жадность Акима; упорно, неотступно, доходя уже до болезненного состояния, точила Акима одна и та же мысль: думал он, что если бы у него были надежные помощники, то разве бы он такие дела развернул?!

Уж тысячные доходы каждый день шли к Акиму, но казались эти тысячные доходы чем то мелким, ибо родились в голове Акима уже планы размахом на сотни тысяч, если бы... если бы у него только были надежные помощники!

Но надежных помощников не было. Нельзя было заводить новые дела, не оставив старых дел под надежным присмотром и, поэтому когда Семен являлся к отцу с просьбой о женитьбе, первой мыслью Акима при взгляде на сына была злая мысль, что нельзя этому дураку поручить самого простого дела.

И сразу свирепел Аким, брал вожжи и стегая изо всех сил Семена, придушенным от злобы голосом, приговаривал:

— А вот я тебя женю!.. До смерти такую дурью голову запорю!

Он стегал, а Семен, хотя иногда после побоев все тело его было черно, как чугун, не издавал от боли ни звука, ни стона,—был точно каменный и твердил свое:

— Бей до смерти, а жени и жени. Не отстану!

Это было дикое, зверское, опасное истязание. Вида этого истязания не выдерживали ни снохи, ни старуха Акима: бросались бабы с плачем и мольбой на защиту Семена— Аким стегал и их и бросал только тогда, когда доходил до состояния, что вот-вот, еще немного и начнет уже не стегать, а убивать. И убивать как-то страшно. Поражало Акима то, что бабы доходили до такого состояния: он им грозил—„убью, стервы, не вмешивайтесь!" они исступленно отвечали: — „Убивай, зверь лютый, убивай!"

И дня два-три после этого Аким чувствовал себя больным: голова болела, сердце билось и дрожь охватывала. И давал себе слово в эти дни Аким не бить дурака, женить его, не думать ни о каких новых делах, пока сын-солдат Иван домой не придет. Болтался этот Иван все время в тылу то денщиком, то кашеваром, то фуражиром, писал отцу хоть и короткие, но весьма почтительные письма—в последних письмах сообщал, что скоро отпущен будет.

С большим нетерпением ждал Аким возвращения Ивана, хотя и думал всегда при этом с сожалением, что дорого бы дал он за то, если бы вместо Ивана вернулся другой сын— Антон. Дело в том, что этот Иван был мешковат, тих, робок, неособенно, как Акиму казалось, сообразителен, словом, плохим не назовешь, но и хорошим тоже,—„середка на половине", как думал про него Аким; Антон же—был ловок, сметлив, необыкновенно подвижен, куда ни пошли, что ни заставь сделать—всюду живо справится и обернется, а главное, что больше всего восхищало в Антоне Акима, это дерзость и смелость, которых в Антоне было хоть отбавляй.

Антон с первых же дней призыва был отправлен на фронт и хоть сознавал Аким, что нехороши для отца такие чувства, все-таки от таких чувств избавиться не мог: дрожал Аким за Антона—убьют Антона на фронте, и скорбел в глубине души за то, почему не случилось так, чтобы Антон был в тылу, а Иван на фронте.

В первый год пребывания на фронте Антон сообщал, что он пока жив, здоров, чем сильно радовал Акима; потом письма вдруг прекратились—не раз Аким справлялся, жив ли Антон, или нет, но на все справки никакого ответа не получал и решил, что погиб его Антон на войне.

И много раз после этого тайком от всех в новом доме с барской обстановкой, считая крупные барыши и видя, как в потайном месте пачки денег, иные в пятисотенных и тысячерублевых бумажках, все увеличиваются, Аким плакал о гибели Антона и думал, что останься жив Антон, обломал бы Аким с ним такие дела—„на миллиены".

Но сгиб Антон, пришлось Акиму помириться на Иване— его ждал он уж с нетерпением, но и того все нет: пишет, что скоро будет, а идет месяц за месяцем, а его все нет.

ГЛАВА V.

В октябре вернулись в деревню пять солдат 42-х летнего возраста. Трое из них просто были мужики, которые спали и видели, как бы только поскорее попасть домой, а дома— скинув шинели, ничем решительно не напоминали солдат той арми, которая первая в мире сбросила с себя дикий, принижающий человеческое достоинство гнет старой, царской дисциплины.

Как были серыми, темными мужиками, то трусливыми и робкими, как зайцы, перед каждым урядником и стражником, то бессмысленными, жесткими по звериному, бунтарями, так тем и остались. Но остальные двое кое-что из того, что бродило в армии, в деревню с собой принесли, и сильно-было на первых порах взбудоражали деревню.

Первым делом они стали допытываться у мужиков:

— Вы кто—партии какой?

Мужики мялись, чесали затылки, сокрушенно вздыхали— приезжали в деревню после февральского переворота не раз „ oратели", такие молоденькие, жиденькие, бледненькие, что мужики жалостливо окрестили их: „струнцы какие-то" и— об'ясняли мужикам, почему и к чему произведен переворот, навязывали партии, в которую мужики должны войти, но говорили так книжно, туманно, такими мудреными словами—„заковырками" по мнению мужиков деревни, что некоторые, прежде, чем их понять, „нужно три года язык ломать".

И поняла деревня у „струнцов" только то, что теперь „земля и воля мужикам", что царю—крышка, помещикам— тоже, насчет же партий—одна часть мужиков поняла, что они „черновцы", другая—„ассеры".

Какое различие между этими понятиями, не есть ли это одно и то же—мужики даже этого не знали. Явись у какого-нибудь не глупого человека желание зло подшутить над мужиками и он легко мог это сделать.

— Да мы, надо полагать, состоим „в черновцах“ „черновцы“, значит—смущенно сказали одни.

А другие не менее смущенно добавили:

— Ну, а мы, как быдто в „ассерах“ находимся.

— А што это такое значит „черновец“, „ассер“?—язвительно пытали солдаты.

Мужики, конечно, знали, что за пост занимает Чернов. И пояснил один из них:

— Да ведь это мянистр наш—Чернов! От него значит и идет—черновцы мы...

Тут мужика из „ассэров“ осенила мысль и он торжествующе заявил:

— Да все же понятно! Чаво здесь спрошать-то? Их мянистр—Чернов, ну и они „черновцы“; наш мянистр—„Ассеров“, не православный должно быть, жид, наверно—ну и мы „ассеры“.

Солдаты знали, что разницы между Черновым и „ассером“, нет, жестоко посмеялись над мужиками, что как это они не поняли, что Чернов в тоже время есть и „ассер“, чем они пристыдили и смутили мужиков, а отсюда—внимательно заставили к себе прислушиваться.

— Эх, вы, дяди! Как были серяками, так и остались, „Ассеры“. Это уже старо. К черту надо этих ассеров. Они за помещиков. Языком болтаете: помещикам—крышка! А какая крышка, если ваш помещик все еще в своем паучьем гнезде сидит и паутину для вас ткет. Землю, баите, у него отобрали... А у вас она? владаете ей? распоряжаетесь? Выходит, на бумаге только отобрали-то, а по настоящему-то—руки у вас на эту землю коротки. Путают вас, дураков, и все эти ваши ассеры. Кто вами правит-то теперь? Комитеты-то ваши,—кто там? Кулаки да лодыри. Акимки-чужбинники вами верховодят...

Мужики всполошились.

— Эй, солдат, эфто зря! Аким Петровича не трожь. Были грехи за ним,—а теперь нет. Теперь он во как нужен—по зарез! И выручает.

— Чаво не трожь-то? Выручит он вас из кулька в рогожку.

— Деньги то сколько, черт, набил? Уйма!

— Пусть набил. Не с нас. В городе добывает—с буржуев. Да и работает как? Работай ты так, сумей—и сколько деньги не набивай—кто тебе што скажет? Никакого права нет ни у кого говорить. С нас Аким Петрович не наживает. Иной раз его копейка к нам перепадает, а не наша к нему. Вот какой человек стал! О других прочих можно поговорить, а о нем—помолчать надо.

Видят солдаты—крепко пустил Аким корни и решили о нем пока не упоминать.

— Ну, ладно, помолчим об Акиме, если он уже такой хороший стал. А другие то „ассеры“ у вас кто? Где глаза до головы ваши были, когда их выбирали? За вас они будут—раззявайте рот шире! К черту их—ассеров таких. Переизбрать надо комитеты. Большевиков надо в комитеты сажать а не ассеров. Вот это партия, большевики-то, наша партия, за голь, за бедноту стоит, они нам по настоящему землю и волю дадут. Они што сделали...

И стали солдаты рассказывать, что сделали большевики и, что собираются сделать,

И пошел с этого дня большой говор по деревне о большевиках.

Солдаты чуть не по двадцать часов в сутки должны были рассказывать и пояснять, что такое большевики. Прежде всего мужикам понравилось название партии—простое, понятное для них, которое они упростили еще больше: звались в семьях старшие сыновья „старшаками“ „большаками“ и мужики не долго думая, переименовывали большевиков в большаков. Узнали они от солдат, что кроме большевиков существует враждебная большевикам партия—меньшевики и этих они переименовали в „меньшаков“, как зовутся в семьях самые младшие сыновья; и не только переименовали, а основываясь на том, что у них всегда на глазах, сделали такой вывод:

— Ну, меньшакам-то, конечно, до большаков далеко! Где же эфто видано, что меньшаки умнее большаков бывают? Оно, конечно, бывает: иной меньшак и умнее большака бы-

вает, да редко эфто бывает. Примерно так: большакам сорок лет, а меньшакам,—уж не будем говорить о щенках лет по тринадцать,– возьмем лет по двадцать,—так што же эти меньшаки-то в работе там, аль по уму доедут до большаков? Упрутся! Потому—в мозгах несмышленность, в руках силенки маловато. Вообче — почти всякому меньшаку до большака надо тянуться!

Эс-эры уж прямо позорной кличкой у мужиков стали.

— Ассер! Чорт те што выдумали. Эфто нам-то, косолапым, темноте горькой, што ни бе ни ме нас не учили, аза в глаза не показывали и вдруг на тебе сразу—ассер! Пускай уж к ерманцам там, али к хранцузам идет этот ассер, а нам такой не нужен.

Сильно испугались такого большевистского настроения крестьяне-кулаки и всякие комитетчики. Пробовали припугнуть солдат—не боятся, пробовали убедить крестьян, что крестьянам особенно не по пути с большевиками, но крестьяне даже и слушать не хотели, почему же собственно „не по пути“.

Коротко отделывались:

— Да не приставайте! Жу-жу-жу: надоело жужжанье-то эфто.

— Знаем, почему стараетесь. Одно слово — ассер!.. Отваливайте!

— Довольно слепых на бревна наводили.

Растерялись кулаки и комитетчики и отправились к Акиму.

Выслушал Аким и спросил:

— А меня как, эфто мужичье глупое, тоже чернит?

— Нет, тебя, Аким Петрович, пока што не задевают.

— Не задевают?—ухмыльнулся спесиво Аким: —Ну, значит не страшно. Вот когда меня задевать станут — тогда приходите: научу!

Верно, недельки через две крестьяне начали заикаться, что, пожалуй, и Аким—ассер, что, может быть, всякие уступки и поблажки Аким делает потому, что нет ведь ни становых, ни урядников, ни стражников, что боится Аким крестьян, потому и стал с ними шелковый.

— Небось, когда становые, да стражники были—на нас смотреть не хотел. Были мы одно слово—грязь придорожная!

Доложили кулаки и комитетчики Акиму, что уж и его „задевают“ — и ждут со страхом, трясутся, что Аким посоветует, чем из надвигающейся беды выручит?

Но ничего им не сказал Аким, чем их думает из беды выручать—только презрительно усмехнулся и ядовито бросил:

— Головы-то, я вижу, у вас слабоваты. Труса задаете? Ну, ничаво: пройдет и эфта гроза. Идите и спите спокойно.

Ушли кулаки и комитетчики, а Аким послал одну из снох за старухой Зиновией. Была эта Зиновия в молодости очень красивой бабой, „баловаться“ с парнями и мужиками, которые поприглянее, любила, а муж у ней был из таких, которые спуску за такое „баловство“ не давали: крепко бил Зиновию. И надумала Зиновия избавиться от мужа: сбежала от него и лет 25 бродяжила богомолкой по монастырям да большим дорогам. Вернулась в деревню старухой, мужа уже давно в живых не было, поселилась в его избенке, которая пустовала и, хоть никаких средств не имела, а жила не плохо: бабам и девкам на картах и бобах гадала—те тащили за это Зиновии хлеб, молоко, яйца, мясо, самотканку; с мужиками — много видела Зиновия и слышала за время своего бродяжничанья—умела по всякому поводу и на всякий случай так речь повести, что слушали ее мужики всегда с любопытством, а иногда и с уважением: и умна и речиста была на удивление!

И подсобляли ей мужики: кто избу, кто печь поправит, кто возишка-другой из лесу дров привезет.

Пришла Зиновия. Увел ее Аким в новый дом. Неизвестно — о чем они говорили там, но пробыли долго в новом доме.

ГЛАВА VI.

На другой день с утра около пожарной стойки собралось десятка два солдаток. С год, как эти собрания вошли в обычай. Вызваны были эти собрания борьбой солдаток с свекорами и свекровьями, потом эта борьба улеглась, а собрания непременно в неделю раз, в четверг продолжались, хотя неизвестно с какой целью. Разводились тут сплетни, передавались и значительные и незначительные мелочи семейной жизни, сообщалось, что „мой пишет“, а те, мужья которых уж отписались—костьми полегли—слушали, потом жалова-

лись на свою долю, слезы лили, или слали проклятия за войну, но кому, кто виновники этой бойни—этого не понимали, да и не пытались понять. Просто проклинали войну, как-будто не люди войну вызвали... А к солдаткам, больше, чем солдаток, собиралось баб и девок только для того, чтобы убить часок, другой в пустой болтовне. Явилась к этому скопищу старуха Зиновия. Как будто шла мимо, да и прошла бы, да остановили, ибо удивились: всегда бабка Зиновия лицом светла и приветлива, а нынче — темнее и мрачнее осенней тучи!

Почему?

Долго не говорила бабка Зиновия, все отговаривалась, что народ пугать не хочет теми бедами, которые на народ идут, но все-таки сдалась,—когда разожгла любопытство до белого каления.

— Быть беде, родименькие бабоньки и девоньки!—начала она повествовать таким горестным и содрогающимся от страха тоном что у всех слушательниц сердца сразу захолонули:— И не одной быть беде на наши горькие головушки. Вот ходит по деревням страшилище женска пола, ходит, как стара кляча, безносая, вся-то в черном—и где она пройдет, там мор зачинается: народ там и скотина так и валятся, так и валятся! Косой травы столько не смахнешь, сколько там живых головушек в землю полягают. Вот и чует мое сердце, бабоньки и девоньки милые, что и к нам заглянет эта страшилища женска пола—не обойдет и нас. Уж чую. А как я чую—так то и сбудется. Вещун мое сердце... Верное сердце: никогда не обманет. Ну, и спрашивают эту страшилищу: почему, мол, мор, за што такое наказание? А она молчит себе, отвечать не желает, да еще злющее делается: все лютее и лютее народ и скотину косит. Только младенцев не трогает. Власти ей на младенцев не дадено. А тут тоже радости мало—ужасти еще больше: как пройдет страшилища где— все полягут, одни младенцы живы. И вот пищат андельские души, и вот плачут, тоскуют—и пить-то хотят, и исть-то хотят, а дать то не кому. Ну и умирают андельские души! А в одном селе страшилища уста разомкнула. Была в этом селе женщина, святая старица, 60 лет по святым местам ходила, всем угодникам Божиим поклонялась, заклятья она знала: этим заклятьем вот страшилищу

уста-то и разомкнула. И речет, говорит, значит, страшилища: „А почему я мор пускаю? А это за слободу вам... За то, што начальства над собой не имеете, Бога перестали бояться, старших почитать... За то, што эта слобода-то, мол, не от Бога, а от антихриста. И будет от меня мор всему христианскому люду три полнолуния; все вымрут, все места будут пусты, ежели христианский люд от антихраста и его верных слуг трижды не зачурается“. Так вот што, бабоньки и девоньки милые, страшилища-то сказала. Вот какая беда-то нас ждет; уж она, эта женска пола-то страшилища, придет к нам,— не обойдет нас! Погибнем все... А антихрист сидит таперь на троне царя батюшки Миколая... И такой-то он ласковый, такой то приветливый ко всем, такой-то добрый—все, мол, всем даст, реки молошные потекут, берега кисельные будут, золота, каменьев самоцветных всем надает,—ну, как человек и человек... Так и обольщает, и идут к нему, и слугами ему верными становятся. А кто ему слугой стал—тот уже креста не носи! Назвал антихрист своих верных слуг „большаками“. Вот и ходят теперь эти большаки-то, и мутят народ и так и сяк, а крестов-то на них нет. А зачураться от их надо так: три раза плюнь ему в лицо и три раза на-отмашь левой рукой ударь...

Жадно, в трепетном испуге, слушали бабы Зиновию, но когда хитросплетенная речь Зиновии кончилась „большаками“, бабы вспомнили, что и у них „большаки“ есть—прежде всего два солдата, самые обыкновенные люди, которых давно все знают, и знали до ухода их на войну за людей хороших, никому зла никакого не чинивших. Теперь эти солдаты вернулись с войны—воевали, мучились в то время, как другие сидели дома и наживали деньги, у этих солдат жены, дети, которые говорят, что уж очень ласковы к ним эти солдаты— гораздо ласковее, чем до ухода на войну, что эти солдаты, когда говорят—видно, что они умнее стали, чем те, которые сидели в деревне, что они много видели, чего нельзя было видеть в деревне и поэтому понимают больше, чем другие, что они будут работать деревенскую работу так же, как и раньше, так же как и все,—а вот по словам бабки Зиновии выходит, что этим двум бородатым людям, перевалившим за сорок лет, более понимающим, чем многие в деревне—этим двум людям нужно плевать в лицо, бить их на отмашь!

За что? И многие бабы засмеялись, а одна из них звонко выкрикнула:

— Ну, уж, бабка Зиновия, с зачураньем-то ты, кажись, малость пересолила!

— Смеетесь?—метнула гневным взглядом старуха Зиновия и, уходя, гневно бросила:

— Смейтесь—просмеетесь!

И пошли с этого дня тревоги в деревне. Не сразу, а постепенно, как буря на большой реке: прежде легкая рябь, потом небольшие волны и, наконец, валы, долго штурмующие берега после того, когда уже и бури нет.

Тревога возникала на слухах. Утверждали по слухам, что напустит антихрист „гладимор", что даст повеление своим верным слугам „большакам" поругать веру православную—разрушить все церкви, что ни один „большак" креста не носит, что война идет не к концу—начнет антихрист новую войну—на целых двенадцать лет против всех царей и королей, что нахлынут на Русь из калмыцких степей никогда невиданные полчища „черномазых" в количестве подобном саранче, что будет антихрист добиваться, чтобы все его признали, все ему поклонились, а когда все его признают, все поклонятся, тогда разгневанный Бог-Саваоф накажет землю светопредставлением.

В сущности все эти слухи плела и пускала только одна старуха Зиновия, но пускала их так тонко, умело, что никто почти, кроме солдат большевиков не догадывался. Пускала она их людям наиболее темным и глупым, а те уже разносили широко по деревне.

Кулаки и комитетчики, конечно, эти слухи поддерживали,—не все целиком, а главным образом—насчет „большаков", про которых упорно утверждали:

— Верно... Добра православная вера от большаков не жди.

Наш брат мужик православный большаком быть не может. Рази который глупый, а умный-то—да и не подумает. Слух идет, что в больших городах, в столицах кто сидит—жиды все! Ну, а жиду наша церковь Христова завсегда поперек горла...

И ежели жиды всю власть заберут, тут и сумлеваться нечего: не видать нам тогда наших церквей Христовых—в прах их разнесут!

Слухи ползли, глупые, нелепые, которых проверить никто не мог, так как сообщали их якобы-то какие-то таинственные странники, которых никто не видел, то древние богомолки и монахини, которых тоже никто не видел: то какие то непременно „старенькие", „седенькие" священники, которым, когда они находятся в алтарях являются видения в белых одеяниях и ликом похожие на святых, являются и пророчат о последних временах, но какие священники, где эти церкви—тоже неизвестно, то наконец, какие-то достойные доверия лица в городе, куда мужики ездили по пятницам на базар.

Бабы принимали всякую ахинею, большинство же мужиков—не верили этим слухам, высмеивали их, главным образом—об антихристе, но над тем, как бы „жиды" и в самом деле не забрали власть и не разрушили церквей — задумывались.

Жалко было бедноте расстаться с тем представлением „большаках", какое составилось у ней со слов солдат.

Смущало мужиков главным образом то, что пугают „жидами — большевиками" не только кулаки и комитетчики, а даже газеты.

В городе издавалась паршивая газетка кучкой черносотенцев, которая утверждала, что революция сделана в России одними только евреями, газета их называла всегда „жидами",—что эта „жидовская революция" приведет Россию к гибели.

Газетку эту привозил из города Аким, которому читал ее на дровяном складе конторщик, тайно передавал ее в волостной комитет и, уже из комитета, если в ней имелось подходящее содержание, газетка пускалась по деревне, где всегда было на готове два-три человека, которые ловко умели дать содержанию газеты нужное, в интересах кулаков и комитетчиков, толкование.

И хоть изо-всех сил боролись солдаты-большевики против дурмана этого, но не в силах были победить старуху Зиновию, которая так напугала баб, что не только старые вдовы и девки—вековухи, но даже молодые бабы и солдатки некоторые поодевали темные платки. Кулаки и комитетчики тоже так крепко обрабатывали мужицкую бедноту, что

серьезные мужики и сторонники их вздыхали, охали, тревожно осматривались по сторонам, как-будто опасность где-то уж близко, и говорили солдатам холодновато, сдержанно:

— Так-то оно так... По словам-то вашим, как писанному: выгнать ассеров из комитетов—большаков насадить. По словам-то, — лучше большаков нам никого и не нужно, да и сами мы большаками быть должны, да только вот што: как бы не промахнуться, не обмишулиться?

Мялись нерешительно, в тяжелом раздумьи, и добавляли:

— Одна беда: известно вон, что в большаках-то жидов много.

— Да и сидят-то где?! В таких местах... такими шишками... вон говорят, что дай этим жидам-большакам еще чуточку ходу, так они в амператоры выедут. Ну, а это нам не подходяще, добра тогда нам, православным, от таких большаков ждать не придется. Как у них там называется — санагоги што ли? Как бы в этих вот санагогах нас молиться не заставили!..

Из кожи лезли солдаты, доказывая, что быть этого не может, что ложь это кулаков и комитетчиков, что и евреи в вопросах вероисповедания стоят за то, чтобы каждый по своему верил и молился, слушали мужики, почти не возражали, а даже похваливали:

— Эх, да и насобачились же вы, как видно, в солдатах-то говорить. Прямо, настоящие ораторы, ей Богу. Все-то, знаете, все-то вам известно. Прямо вас в председатели!

Но и только. Дальше мужики не шли. Комитетчиков переизбирать не решались.

ГЛАВА VII.

Только в половине декабря стал известен октябрьский переворот в деревне. Первыми весть в деревне распространили об этом солдаты-большевики. В этот день они поехали в город за какими-то покупками, но из местной, только-что вышедшей в этот день, газеты узнали, что большевики в столицах подняли восстание и на этот раз победили буржуазию. Забыли солдаты о покупках, чуть не загнали лошадей до деревни, а, примчавшись,—ударили в набат. Сбежался народ—видят: один солдат, махает газетным листком и вопит:

„Вот оно... вот оно... пришло!" другой охрипшим от волнения голосом выкрикивает:

— Наконец-то.. наша победила... большевики победили... Это им не июль—проклятым буржуям... Власть теперича — рабочих и крестьян... большевицкая власть... К чертовой матери асеровские комитеты — большевицкие выбирайте, граждане. Наша власть... власть рабочих и крестьян!

Крестьяне даже не попытались хорошенько толком узнать—в чем дело? Один солдат махает газетным листом—значит там „пропечатано" что-то важное, „манихест, верно!", другой солдат кричит, что власть теперь — рабочих и крестьян, что асеровские комитеты долой—нужны большевицкие, а главное, оба солдата в таком повышенном состоянии—по пустякам люди так из себя не выходят.

И загудели голоса отдельные:

— Наша власть?—а—а! – Гони асеров!—Долой!— Большаков давай!—В комитет их!—Вали солдатов в председатели!—Пусть действуют. Потом уж общий гул: Просим! Просим! Просим!

Несколько кулаков заявили, что они „тоже большаки", но солдаты приосанились и только глазами насмешливо повели на кулаков,—толпа уже угодливо ревела:

— Знаем, что за большаки! Отваливай пока ребры целы! Знаем, кто из нас большаки! Таперича выберем, так выберем—без ошибки!

И начали мужики обсуждать, кто должен быть в новых комитетах, а, обсудив, предлагали председателям на утверждение.

— Так... идет!..—соглашается один солдат.

— Подходящ,—веско добавляет другой и записывает в записную книжку имя и фамилию нового большака.

Председатели старались держать себя спокойно, важно, степенно и только блеск глаз да невольно расплывающиеся по лицам улыбки говорили, насколько велика их радость.

Но преждевременно они ликовали. В самый разгар выборов подкатил на своем роскошном, взмыленном рысаке Аким вместе с местным попом.

Бросив возжи, Аким почтительно, почти подобострастно помог попу сойти с пролетки. Один из председателей покосился на попа с Акимом и так презрительно, так беззлобно,

как относятся только к окончательно уничтоженному и обезвреженному врагу, коротко бросил:

— Эй, глянь-ка, товарищи: вот она вам опять шайкалейка! Это значит — вороны почуяли... Да поздно!

Покосились и мужики с неловкостью: уже конфузно было перед новыми председателями за свое почтительное отношение к Акиму.

И без того злобен был Аким, а когда увидел, что солдаты тоже не дремлют, перекосилось его лицо от злости.

— А погодите, чуточку... Вы, голь-моль перекатная! Чаво имеете? Одни шинели, да и те у казны украли... Раненько радуетесь... вы дезертиры, проклятые, нищета необутая, беспортошная! — крикнул он солдатам зычно и так пренебрежительно, с такой ненавистью и спесью, что вся толпа крестьян дрогнула, как от внезапного удара кнутом; и самый последний, самый забитый и темный крестьянин в этот миг почувствовал давнишнюю застарелую боль и горечь людскую, что никогда, никогда не сгинет спесь, пренебрежение, жестокость богатого к бедному, что чем ни больше денег у богача—тем дальше он от слез, мук и едкого горя бедного!

И крикни в этот миг солдаты хоть одно слово к расправе над обнаглевшим мироедом — в пять минут от мироеда осталась бы только кучка окровавленного мяса.

Но не знали наивные солдаты, с чем прискакал Аким, не знали, что он им готовит; они чувствовали себя великодушными победителями и один солдат спокойно, с добродушным любопытством смотрел на Акима: а ну, мол, что дальше? А другой лениво процедил сквозь зубы:

— Так... А что еще скажешь? Да покороче говори. А потом мы тебя, Акима Петровича, богатея первого, так вчистую отповедуем, что опосля этого ты уже к народу никак не подойдешь, никак не обманешь... Уже прошло ваше времячко!

— А вот што скажу... — еще зычнее выкрикнул Аким, выхватил из кармана газетный листок и во все время своей речи грозно потрясал им в воздухе. — А вот што скажу... Слушайте, православные христиане... Вера наша Христова гибнет, церкви, — што церкви, можно сказать, церковь всех церквей, святыня наша спокон веков, Кремль наш в ма-

тушке-Москве вправ этими проклятыми большаками разбит! Слышите вы, православные: из пушек, из пулеметов в мощи святые, в иконы чудотворные палили! Я молчал, когда тут такие большаки-прохвосты (Аким указал на солдат) растабаривали то да се... Говорили тут умные люди вам, православным христианам, што в большаки-то наш брат русский разя который только глупый пойдет: потому — кто в большаках-то — одни жиды христопродавцы! Говорили вам, што на большаках креста нет, што они церкви Христовы нарушают. Не верили, думали — сказки вам рассказывают. Змей подколодных слушали, большачков своих деревенских, беспартошных, которые жидам продались. Вот и поспрашайте их хорошенько таперича: как же эфто так, что большаки в мощи святые, в иконы чудотворные из пушек и пулеметов в матушке-Москве палили? Вот запрежде послушайте, а потом и поспрашайте... Да хорошенько поспрашайте, чтобы другим не повадно было. Кто грамотей? Иди сюда, читай!

Из толпы вынырнул бывший волостной писарь, а потом „сикрятарь“ волостного и земельного комитета, взял от Акима погромную черносотенную газетку и стал читать медленно с ударениями, с подчеркиваниями и с восклицаниями от себя:

— Боже мой! Да не может этого сердце вынести! О-о, у-у! Волос дыбом встает!

Статья в газетке начиналась с того, что как, мол, редакция утверждала, так и сбылось: революция сделана в России жидами, и теперь, мол, мы, русские, пожинаем плоды этой революции, что, мол, жиды знали, с чего начать—с оплота русского православия и величайшей святыни народной: с разгрома Кремля в Москве. Дальше длинно описывалось разрушение Кремля: Чудов монастырь, собор и т. д.—все, находящееся в границах Кремля, превращено орудийным огнем в груду развалин. Защищали Кремль ревнители Христианской веры, но все пали от преступных жидовских рук. Заканчивалась статья призывом: „Люди святой Руси, неужели не проснемся и в конец дадим погубить себя врагам Христовой веры!?“

Пока читалась эта статья, поп облачился, и когда кончилось чтение, счел нужным от себя добавить:

— А я, по долгу пастыря, должен вам сказать, православные христиане, вот что. Все-таки не погибли святыни в Кремле. Все постройки разрушены в пыль, а мощи с раками преподобных и иконы чудотворные целы остались. Ни пуля, ни граната, ни бомба их не коснулись! Что же сделали большаки – жиды эти? Они собрали мощи преподобных и иконы чудотворные и хотели их сжечь на костре. Но тут, православные христиане, случилось великое чудо: зазвонил Царь-колокол, - а людей при нем нет, начала стрелять в жидов большаков сама Царь-пушка, — палит, палит, а около нее ни одного человека. Ну и бежали все жиды от этого чуда в страхе велеим! Бежали, но ведь опять могут притти. Раз не удалось уничтожить святыни наши, так другой раз удастся. Так неужто попустим, православные христиане, в конец погубить себя врагам нашим, неужто не проснемся и не увидим, что и у нас враг не за горами, а здесь, около нас? Неужто попустим?—и поп высоко поднял крест.

Оцепенело стояла и молча слушала темная, несчастная деревенская толпа, а когда поп кончил, взоры толпы тяжело перевелись на смертельно бледных солдат. И не успел еще никто произнести слова, как в наступившей ужасной тишине гулко раздался лязг удара и один солдат свалился на землю, а через миг очутился на земле и другой. А еще через миг и не видно стало солдат. Толпа окружила—скрыла их, и в зверином молчанье, тяжело, прерывисто сопя, сыпала на солдат удары.

Воздух прорезал тонкий, нечеловеческий вопль одного солдата.

— Товарищи, простите Христа ради... То-ва-ри-щи!

Было что-то в этом вопле неотразимо-убедительное, что-то до такой степени страдальческое и правдивое, что толпа сразу прекратила избиение.

— Ага, то-ва-ри-щи! — еще зычнее прогремел Аким:— Бей, б-бей их, сукиных детей, штоб другим не повадно было.

И не мелькнул крест попа в одураченной толпе, не прозвучало властное слово пастыря „не убий"!—крест в руке попа поднялся еще выше, в руке лицемерного служителя церкви, далекого бесконечно не только от Евангелия, но и от простой, бывающей иногда даже у зверей, жалости.

Но раздался второй вопль солдата:

— Крест имею на шее... Кре-ст!

И это напоминание о кресте оказалось ближе толпе, чем крест священнослужителя, которым всегда большинство попов прикрывали ложь, обман и жестокость правящих народом.

Толпа разрешилась от своего тяжкого молчания ревом: „Покаж-ка!" и расступилась. Встали солдаты с заплывшими, окровавленными лицами, торопливо, судорожно, неповинующимися руками расстегнули с трудом шинели, дернули и разорвали ветхие рубашки, и на обнаженных, местами уж синих от побоев грудях показались маленькие, медные убогие, зеленоватые кресты.

Итак стояли и застыли жалкие, трясущиеся, всем своим видом молящие о пощаде то темное чудовище, которое вызвали в толпе Аким и поп.

И чудовище смилостивилось. Убогие, зеленые, медные крестики в чем-то убедили больше толпу, чем большой, золотой, высоко поднятый крест в руке попа. Из толпы выделился здоровый, крепкий мужик и хмуро сказал солдатам:

— Ну, идите. Счастье ваше, што о крестах вспомнили. Крышка бы вам без эфтого. Да наперед помните: о большаках забудьте. Таперича понимаем: не со зла вы в большаки-то попали, а по глупости по своей!

Казалось, что солдаты не понимают ничего: продолжали стоять.

— Да уходите же,—поморщился как-будто уже с отвращением, от вида крови, мужик и подтолкнул слегка солдат: — идите к домам. Говорю: счастье ваше, што о крестах вспомнили...

Солдаты, пошатываясь, машинально тронулись...

— Как? што? только-то?—вдруг охрипшим голосом спросил Аким:—Вернуть их. Судить их надо, штоб другим не повадно было.

— Верно! Судить надо,—подтвердил „сикрятарь".

— Довольно с них. Чаво еще надо: таперича забудут о большаках — и ладно. Говорю: слава Богу, што о кресте вспомнили...—угрюмо сказал все тот же мужик.

И эта угрюмость передалась уже всей толпе и видна была во всем: в позах, в лицах—угрюмость упрямая, твер-

дая, несмотря на то, что крест в руках попа звал толпу к иному.

— К беспощадной расправе. Потом поп возгласил:

— Православные христиане, теперь — в церковь Христову. Отслужим благодарственный молебен Всевышнему за чудесное спасение мощей преподобных святителей и чудотворных икон!

Он тронулся, а за ним, облегченно вздыхая, тронулась и вся толпа.

ГЛАВА VIII.

Крепко опутали деревню Аким и его единомышленники: как-то жалко было расстаться мужикам со словом „большак“,— таким простым, близким, родным, понятным; но все-таки расстаться,—с болью, с затаенной душевной горечью. Правда, не совсем, ибо как нельзя остановить катящуюся с горы снежную лавину сразу, так нельзя сразу прекратить действие мозга и чувств, когда они сильно возбуждены. Все еще ворошились, качались мужицкие мозги над словом „большак“, как тяжелый маятник: трудно его раскачать, а раскачав — остановить. И не мало мужицких голов в долгие зимние ночи, лежа на теплых печах, вызывали это слово, как доброго волшебника, который показывает заманчивые дали и говорит: „иди туда!“

Но наступали дни, встречались люди, заводились разговоры и никто, ни один человек не осмелился вслух заявить, что, а он вот, несмотря ни на что, считает себя не „ассером“, а большаком. Ибо—как заявить, если большаки—все жиды, а из русских, разве только кто по глупости заявит, если большаками разрушен Кремль?

Разговоры о Кремле мужики хотя и хмуро, но охотно, с возбужденным любопытством и с пораженным воображением, слушали с неделю, а потом им это уже начало претить, и все чаще и чаще у них недовольно вырывалось:

— Поговорили и довольно бы—так нет: все звонят, все треплют языком!

Особенно много, конечно, говорили бабы. И склоностью баб к болтливости, пользовались Зиновия, кулаки, комитетчики; им нужно было разговоры о Кремле, как клин, который надо как можно глубже забить в мозги деревни, и они говорили об этом неустанно и при случае и создавая случаи. А потом эти разговоры разносились по каждой избе бабами, как тараканами, по всем щелям, обсыпанными ядовитым порошком, ибо мужики, если слышали такие разговоры, так дома уже в большинстве случаев помалкивали: и надоело, и противно!

Мужики уже замечали, что в разговорах о Кремле не только все сказано, а уже много приврано—уже и ложь попа была известна,—и все-таки привирается еще больше с каждым днем, и с каждым днем ядро этого вранья давало себя чувствовать в домашнем быту: бабы не только об этом через-чур много болтали дома, но и отчуждались от мужей, если мужья не склонны были терпеливо выслушивать их бесконечную болтовню.

Никто в деревне не заикался о том, что он „большак“, но никто, за очень редкими исключениями, на вопрос, кто он, не сказал бы, что он „ассер“. Беднота себя от ассеров, т.-е. кулаков и комитетчиков отделила. Учла и поняла их темную работу и, при разговорах о кулаках и комитетчиках заключала:

— Нда... и липки же эти ассеры-то... Не мытьем тебя, так катаньем возьмет... Он не доймет одним, так—другим, не другим,—так третьим ..

А „мытье“ и „катанье“ действительно шло без останову. Уж не мало насчитывалось баб, побитых своими мужьями за то, что они требовали суда над солдатами-большевиками. Без устали поджигала баб старуха Зиновия, напоминая, когда она им сказала: „Смейтесь—просмеетесь!“ и намекая, что таких людей, как солдаты, так оставить нельзя: если уж их помиловать—не убить, так хоть из деревни выгнать, чтоб таким духом не пахло.

И бабы, настроенные непримиримо, грозили солдатам, которые уже и выходить-то из дому боялись, что если их мужья такие дураки, так они, бабы, не спустят: уж доберутся как-нибудь до проклятых большаков, так доберутся, что клочья только останутся.

А дома бабы требовали от мужей: судить и судить!

Мужики же как-то без сговора, по одному внутреннему решению, решили солдат не трогать, а за назойливость баб таскали их за косы.

А несчастные, запуганные, задерганные, ошельмованные

солдаты недоумевали: сидели дома, выходя только по крайней надобности, читали-перечитывали десятки раз несколько десятков номеров „Окопной Правды", привезенной бережно, как драгоценность, с фронта, и терялись... Как же это так? Вот они были на войне, ходили на врага,—всегда с мыслью, что идут почти на верную смерть,—никогда не боялись; читали на фронте „Окопную Правду" и казалось им, что когда придут домой, так живо скрутят всех кулаков, а теперь, когда пришли, они боятся даже баб, а перед Акимом и попом испытывают уже не боязнь, а ужас.

И казалось солдатам, что посмеялась над ними „Окопная Правда"; не знает она, что страшнее всего на свете поп и кулак, когда они играют на темноте деревенской. И утешались немного солдаты тем, что встречались изредка, да и то украдкой, тайком, и говорили горько друг другу, что один в поле не воин.

Зато Аким был доволен. И не только доволен, а решил, что пора перестать „няньчится с сиволапыми чертями", и от его ласковости и уступчивости с мужиками не осталось и следа. Стал он груб, чванен, спесив, часто упрекал мужиков в неблагодарности: он ли уже не старался для народа,— и мельницу, и кузницу соорудил, а на кого его променяли— на каких-то „безпартошных бродяг", которым место разве в деревне?

— Пущай идут к своим товарищам,—что церкви разбивают. К христопродавцам-то тем, которые в Москве-то, там— што утворили? Надоело мне все эфто. Посмотрю, посмотрю я, да и двинусь в город—на жительство, значит, постоянное. И мельницы туда и кузню перетащу. Потому, как жить издеся, если тебе всякый обормот посереди дороги стоит?... Сами подумайте мыслимо ли?

Угроза, лишиться мельниц и кузницы для мужиков, была немаловажна. Они даже было решили сделать из мельниц и кузницы общественную собственность и цену предложили Акиму не меньшую, а большую, чем ему стоили мельницы и кузница—15 тысяч, но Аким и разговаривать не пожелал:

— Нипочем! Никогда! Пожалуй, еще этих беспартошных на мельницы да в кузню посадите заправлять. Лучше в город с собой увезу!

Строить же мельницу и кузницу, принимая во внимание бешеные цены на материалы, мужики не решались. А некоторых предметов и совсем нельзя было достать: говорили мужикам в городе, что жерновов в России ни за какие деньги не купишь—нигде их нет.

Верили наивные мужики, что угрозу насчет мельниц и кузницы Аким может осуществить и думали, думали не мало—понимали, куда Аким гнет: выселить солдат-большевиков из деревни.

Но черезчур грубо гнул Аким—не могла мужицкая совесть примириться с такой оценкой.

— Больно уж дюже гнет... решили мужики:—Безпартошные—оно легко сказать. А допрежде бы подумать надо: кто кровь-то ходил проливать, в окопах-то кто сидел? Где же им там портки наживать? Там милиенов не наживешь, а того и гляди, голову потеряешь. Што не по-божески, то не по-божески... это уж што и говорить!

Подобные решения Акиму через доносчиков были, конечно, известны. Он знал, что глухая вражда к нему, о которой пока мало говорят, вновь поднимается, что обманывать мужиков все труднее: плохо верят бедные в доброту богатых. Да и надоело Акиму играть в доброту. И опять он уверовал в то, что „ежели кто с умом—то тот завсегда не пропадет", и вновь открыто вел дружбу с попом. Поп ему советовал быть поосторожнее с народом, не очень-то натягивать возжи, а то, мол, „конь и опять удила закусить может и так помчит... так помчит, что и костей не соберешь!", а Аким нагло заявил:

— А плевать мне на эфтих дураков... Да их завсегда вокруг пальца обведу. Слава Богу, жидов в Рассее пока што много... Не скоро их еще переведут. А пока жиды в Рассее, то што бы наши оболтусы ни затеяли, им завсегда такую пулю можно отлить—только любуйся! Не боюсь эфтих пустоболтов безголовых ни на волос!

Завел Аким порядок: нанял себе чтеца-мальчишку, и каждый день вечером часа по два читал ему мальчишка бойко две газеты—одну эсеровскую, из города, ту, за которую солдаты чуть не поплатились жизнью, другую столичную— советскую.

Пил чай с вареньем, слушал, неизвестно, что думал по

поводу прочитанного, но неизменно заключал, когда чтение кончалось:

— Ничаво... Эфто все не страшно. В случае чаво—все обмозгуем. Пишут же такое... Э-эх и дураки!

ГЛАВА IX.

В начале января Аким отдал сына Семена в город в работники к „отходнику", и нисколько не чувствовал, сколько в его словах злости:

— С глаз долой. Штоб крови не портить мне! Самое ему, дураку, там настоящее место...

Недели через полторы, в воскресный день, Семен явился домой. Аким выгнал его.

— Воняет от тебя, как от дохлятины. Забудь дорожку сюда—и показываться не смей.

Старуха Акима заплакала, снохе жалко Семена—хоть и слабоумный, а уж очень добрый парень и нужный по дому а Семен засмеялся и заявил:

— А и не приду, папашка. Больно уж ты лют!

И ушел. И, действительно, не появлялся. Ждал Аким Ивана и сильно безпокоился: как бы не сгиб и этот. По два письма в неделю слал, а от Ивана—ничего.

В конце января вместо Ивана нежданно-негаданно вернулся Антон. Приехал Аким домой вечером, встретила его старуха около избы в радостных слезах:

— Антон вернулся!

Не поверил Аким.

— Што? Сдурила на старости лет!—строго крикнул на нее Аким.—Забыла, как сыновей зовут: Иван, а не Антон.

— Ну, вот, Антон, говорю!

И тут не поверил Аким. Вошел в избу, взглянул--верно: Антон!

Сидит Антон, пьет чай, жена и трое детишек его около него. И так растерялся и обрадовался Аким, что не заметил странности: Антон даже навстречу отцу не встал. Подошел Аким к сыну, обнял, поцеловал, сел и смотрит на Антона и не видит: глаза слезами застлало.

Потом засуетился.

— Да што ты здесь-то—в грязной избе? В дом мой новый пойдем. Эй, бабы, самовар туда, закуски, какая есть получше, и винца. Ах, ты, Господи, радость-то какая нежданная!

Взял сына за руку и ведет в новый дом. Принесли бабы самовар, закуску, вино, выгнал их Аким, чтобы не мешали, а как взглянет на сына—не видит его: застят и застят слезы глаза. Досадовал на себя, решил не смотреть, пока не успокоится, выпил вина, но не видел—выпил ли Антон. Стал потом Антону лихорадочно, возбужденно, как в бреду, рассказывать, как счел его убитым, как богател и развертывал свои дела и скорбел, что нет Антона, с которым дела на „мильёны" можно развернуть, в купцы первогильдейские вылезть,—рассказывал и все не замечал странности: того, что Антон перед ним еще ни одного слова не произнес.

Выслушал Антон все, что говорил ему отец, молча и, когда отец кончил, сказал первое слово:

— Так...

И при этом первом слове Аким взглянул на сына и увидел его остро, зорко—сразу перестала слеза глаза застилать. Увидел и сам еще не зная почему, содрогнулся. Волосы ли у Антона на голове были темные, теперь сильно поседели; лицо постарело—видны морщины, борозды, но все-таки лицо своими чертами похожее на прежнего Антона. И не седые волосы, не постарелое лицо поразили Акима. Понимал он, что война не то еще с людьми делает—с ума люди от ужасов ее сходят, и казалось Акиму, что легче ему было бы, если бы и Антон вернулся душевно-больным: по крайней мере, и счесть, что человек конченый, как это ни больно было бы.

Поразило Акима лицо сына, какого он никогда, казалось ему, ни у кого не видал: очень умное лицо и такое задумчивое,—как ни рви—от этих дум не оторвешь.

Долго не мог Аким опомниться от этого лица, а тут еще Акиму чудится, что Антон и это понимает и ждет, когда отец „придет в себя".

Опомнился Аким, взглянул на сына—не прямо, а искоса, со страхом, а тот заговорил.

— Вот что я тебе скажу, отец. Наши дорожки разминулись. Я вот вижу, какое ты тут себе барство завел, небельто какая: чисто и в самом деле ты барином родился. До войны и я, конешно, на это позарился бы, а как побывал

на войне—все это мне теперь ни к чему. Ни миллионов мне не нужно, ни купеческих гильдий. Я, отец, на войне несколько раз по колено в крови ходил, а кроме этого много такого видел, что мне теперь не до денег, не до гильдий. Если хочешь этого - я останусь, ну хоть на мельницах буду работать, но только ты до меня уж никогда не касайся, не втягивай в свои дела денежные: чут что, одно слово твое об этом, и я уйду. Противно мне это, ты можешь заниматься, чем хочешь, но меня оставь; наживай сам, если тебе все мало, а я тебе не нажитчик. Ты отец мой, а я вот смотрю на тебя и думаю: насколько лет я старше тебя? Может, пять раз твои лета взять, и все-таки я буду старше тебя. Будем жить по-своему: ты забавляйся деньгами, гильдиями, я тебе не помешаю, но и ты мне жить, как я хочу, не мешай. Понял, отец? Будем жить: ты—в этих хоромах, а я—в мужицкой избе.

Поразил Акима и тон Антона. Ничего похожего на того прежнего Антона не было. Была в этом тоне такая твердость, что Аким сразу понял, что бесполезно с сыном говорить: не послушает! А больше всего смущали Акима слова, что чувствует себя Антон старше отца: чудилось в них Акиму что-то непонятное для него и страшное.

И ничего не успел сказать Аким сыну. Сердце так забилось, и так в нем кольнуло, что Аким ахнул. Еще миг—и Аким повалился с мягкого кресла ничком на пол.

Посмотрел сын спокойно на отца, понял, что это не смерть, а обморок, что очухается старики ушел в избу, где даже не сказал, что старику плохо.

ГЛАВА X.

Лютеть стал Аким после приезда Антона с каждым днем без удержу, без оглядки. На Антона и смотреть не хотел. Знал, что работает Антон на мельницах исправно, что не стащат работники теперь ни пуда муки с мельниц, не утянут его, Акимовой, ни одной копейки, да уж слишком мало было этого Акиму; не на такие дела Антона прочил. Если кто Акима про Антона спрашивал, — как, мол, сынок-то? — зеленел Аким и говорил злобно:

— Нашел про кого спрашивать! Што о нем говорить: полоумный какой-то, прямо опоеный... Ждут его дома обедать — не идет; ну, знают уж — забыл, мол, про обед-то. Понесут ему обед на мельницы, а он и там пожрать забудет. Все думает о чем, то, как индейский петух, который думал-думал, так и сдох. Прямо скажу: лучше бы уж такой опоеный ко мне и не являлся. Одно горе!

И совесть Акиму подсказывала, что нехорошо так говорить про Антона, а всетаки удержаться не мог. Точно так же не мог удержаться Аким от злобы, когда случайно изредка сталкивался с Антоном. Видел Аким по лицу сына, что не пустые у него думы, а такие, о которых он, Аким, никогда и не мыслил, видел, что твердо решил Антон не пускать отца в свои думы, знал, что за всякую новую попытку его вторгнуться в эти думы Антон посмотрит на него так, точно он, Аким, собирается к нему в душу с грязными ногами лезть, посмотрит и отрубит одним словом: „Не к чему", а то и совсем ничего не ответит, как будто он, Аким, такая мразь, которая и слова-то недостойна.

И злобно думал Аким при всякой встрече с Антоном:

— У—у, чорт скаженный, вот навязался какой на мою шею!

Аким не прочь был отделаться от Антона совсем, ибо находил, что портит ему Антон кровь больше Семена, но боялся сказать Антону в глаза об этом.

А вышло все таки так, что отделался. Встретил как-то случайно в городе Семена, неимоверно грязного, оборванного и буркнул:

— Ну, как, дурак, живешь? Сладко?

— А хорошо, папашка, живу. Хозяин добрый—все хвалит и хвалит: ай-да Семушка, вот это работник! Ну, и кормит хорошо...

— А деньги-то платит?

— А как же. То пятишку в месяц даст, а то и красненькую!

— Как пятишку? Как красненькую? вскинулся Аким — Да я его, твоего хозяина, сукина сына, в бараний рог согну, да и тебя, дурака, вожжей изъезжу! Помнишь ли ты, дурья голова, за сколько я тебя подрядил: пять красных ты от хозяина в месяц получаешь, пять красных, а не пятишку и не красненькую!

— Пять красных, пя-ять,—протянул Семен и ухмыльнулся. — Да куды мне столько? На што? Живется хорошо—

и ладно, папашка! Это у тебя, папашка, все только: день-ги, день-ги! Лопать што ль их перед смертью станешь?

Посмотрел Аким на сына: и действительно—сияет лицо Семена довольством. И злобно у Акима вырвалось:

—Хорошо тебе живется? А воняешь-то, чорт скаженный, как? Протух, ведь, весь, а доволен! Вон дома еще такое сокровище—Антошка. Ему тоже, пожалуй, с тобой место в отходниках!

—Антошка?—и Семен широко ухмыльнулся.—А я был у него на мельнице. А што ж—он в отходники пойдет. Ему тоже на твои деньги наплевать: лопай их один, папашка!

Зачесались у Акима руки на сына—так бы вдрызг и избил на улице, при всем народе, да сдержался: плюнул и пошел от сына. И даже с хозяином Семена решил не говорить: пусть едет на дураке, как хочет.

А дня через три приезжает Аким из города и узнает от старухи своей, что был сегодня Семен, говорил с Антоном—разговор свой с отцом передал, а Антон сейчас же собрал жену и детей и поехал в город работать вместе с Семеном в отходниках.

Плакала старуха и в первый раз в жизни осмелилась сказать Акиму.

—Позор-то какой от людей, позор-то! И все жадность твоя, все лютость!..

И хоть прикрикнул на нее Аким, что не бабьего ума дело судить его, а потом и прогнал с глаз долой, но в душе почувствовал, что в том, что ушел от него Антон, есть для него, Акима, действительно что-то позорное—не перед людьми, как думала старуха, а перед самим собой.

И не только позорное, а более. Акиму понятен был Семен—казалось Акиму, что Семен по своей глупости доволен таким отвратительным делом; понятен был Антон, нежелающий почему-то быть „нажитчиком"—помнил Аким слова сына, что приходилось Антону не раз на войне по колена в крови ходить—помнил и находил, что может после этого случиться с человеком всякая напасть; случилось с Антоном—свихнулся сын, не до того ему, должно быть, чтобы думать о наживе, но ведь Аким и не толкал его на это. И всетаки Антон, умный Антон пошел на такое дело, на которое идет только самая последняя голытьба, да и та по

крайней необходимости. А какая же у Антона необходимость уходить из дома, где всего полная чаша? Разве его кто гнал? Пусть бы Антон, наконец, ушел на какое-нибудь чистое, приличное дело, но на такое грязное, всеми презираемое дело—в отходники—этого Аким никак понять не мог.

Понимал также Аким и то, что его слова по отношению к Антону, сказанные им, Акимом, сгоряча дураку Семену и переданные Семеном Антону не могли быть для Антона чем-то таким, что заставило его уйти; если бы Антон не думал уйти от отца, если бы чуть побрезгал тем делом, на которое пошел—ясно, что Антон не основался бы только на словах Семена, поговорил бы с ним, с Акимом, и тогда, конечно, не ушел бы. Надо, значит, думать, что его богатый дом очень противен Антону, если он, нисколько не задумываясь, сразу идет на такое дело.

И поправить этого нельзя: чувствовал Аким, что никакой надежды нет, чтобы отговорить Антона вернуться обратно.

И лишился с этого дня сна Аким. В течение целой недели никуда не заглядывал: ни на мельницы, ни в кузницу, ни на дровяной склад. Все забросил, давила одна дума—об Антоне, как мельничный жернов, и давила безысходно: и примириться с уходом Антона не мог, и средств вернуть его не видел никаких.

И, наконец, не выдержал. Хоть не надеялся ни на что, а все-таки поехал к Антону. Верно: работает Антон в отходниках—умный Антон, у которого такое умное лицо, какого Аким никогда и ни у кого не встречал.

Видел Аким бабу Антона—молодую, разбитную, красивую бабу, которая немало поплакала о муже, когда считала его погибшим, а потом примирилась и повеселела,—теперь у этой бабы вспухшие от слез глаза, в которых застыли тупо, недоумевающе и ужас и покорность.

Видел крохотную избенку, в которой должны ютиться Антон с семьей, где протухший воздух кажется тяжелее, чем вонь от бочки отходников; видел детишек—растерянных, еще не привыкших к тяжести новой обстановки, с лицами, на которых уже начала проступать нездоровая бледность, но, однако, когда Аким предложил жене Антона и де-

С.С.С.Р.

тишкам переселиться опять к нему, если им тут тяжело, детишки живо замотали отрицательно головками и ответили:

—Нет уж, дедушка, лучше мы с папанькой!

И жена Антона тупо качнула головой и покорно сказала:

—Никак нельзя. Тяжело, слов нет, а терпеть придется. Ведь Антон этого не захочет,—как же я-то могу? Куда иголка, туда и нитка. Так и жена должна... Видно уж судьба моя такая: все терпеть надо...

Посмотрел Аким на детей и на бабу и понял: непобедима ничем власть Антона над детьми и над бабой. Знал Аким, что и с детьми и с бабой своей Антон ласков, но говорит с ними мало: думает по обыкновению напряженно о чем-то своем, одному ему известном, и не видит, что у него перед глазами его жена и его дети, как часто смотрел прямо в лицо ему, Акиму, а Аким чувствовал, что не видит его сын.

И думал Аким: в чем же власть Антона над детьми, над женой, которые его любят, и даже над ним, над Акимом, которые впервые в жизни так боится первого человека, и этот первый человек—его же кровь, его же сын?

И не мог этого понять.

Видел Аким хозяина своих сыновей, низкого, хамоватого от головы до пят мужчину, который перед жестким взглядом такого богатея, как Аким, до которого мужиченка дотянуться и помышлять не смел, лгал подобрастно и трусливо:

—Тут, Аким Петрович, статья у нас с вами такая... Семен-то ваш докладал мне, что встретил быдто вас и сказал, што плачу я ему в месяц пятишку или красную. Не в обиду будь вам сказано, Аким Петрович, сами знаете,—слабоумен Семен-то. Ну, и напутал вам на меня нивесть што. Да рази я себе перед вами позволю, да лопни мои глаза! Гром меня на этом месте разрази, если я у Семена хоть копейку зажилю. Все до единой копеечки пять красных Семену кажиный месяц плачу. Да еще на чай даю: потому работник—из всех моих работников, а их у меня десять—первый работник! Ну, да знаете, Аким Петрович, человек Семен молодой, здоровый, не жанатый—ну, и побаловывается: к девкам ходит. Опять же работники в расход вводят: вино жрут—иной раз и Семена втянут. Вот куда денежки-то идут. А он на меня, плетушка, свалил. Испугался родителя-то—и свалил..

Видел Аким, что лжет мужиченка: знал, что не пойдет Семен к девкам, знал, что и вина Семен не терпит.

Понимал Аким и подобострастие перед ним мужиченки, как перед богатеем. Но когда речь зашла об Антоне—забыл мужиченка, что перед ним богатей; руками заскреб в затылке и, поглядывая на Акима с сожалением, простодушно сказал:

—Не дал вам Бог счастья в детях, Аким Петрович. Ну Семушка-то туда-суда—глуповат дюже, и все тут! А вот Антон-то Акимыч—ох, и чуден же. Молчальник—да и только. Слова от него не дождешься, ну, а как если взглянет на тебя—мурашки по телу!.. Я, признаться, каяться начал: зачем такого нанял? В глаза ему смотреть не могу..

—А ты откажи ему, ежели не по нраву,—живо заметил Аким, ухватившись за мысль, что если Антон останется без заработка, тогда его легче будет перетянуть в деревню. И понял Аким, что и тут Антон возымел власть. Испуганно взглянул мужиченка в глаза:

—Што? отказать ему? Да ни в жисть! Как же я откажу ему, если он опосля Семушки первый работник! За Семушкой ему не угнаться: дюже здоров парень, а по глупости своей, на манер свиньи, и к месту и не к месту чуть не в дерьмо носом лезет. А если он меня первым делом спросит: а за што? чем не ндравлюсь? работаю штоль плохо? Што я ему тады скажу? Да меня тады совесть убьет. Ни в жисть на это не пойду. Он меня своими глазами вот как пронимает: во сне их вижу. Вижу—и все мне от них как-то неловко, быдто все укоряет меня. А как проснусь, встречусь с ним—не могу грубо, как с другими: все помягче, все, как господа говорят, подаликатней стараюсь обхождение иметь. Не могу по-другому. Прямо он наваждение на меня какое-то наводит!

Отвернулся Аким от мужиченки: таким страшно живым и больным укором встал перед ним в глубине души этот мужиченко—самый низкопробный плут, но и тот что-то чувствует необычное перед его сыном Антоном. И блеснула в голове Акима мысль, ужаснувшая его: что сделанное злое дело не ограничивается само собой, а словно в отместку тому, кто его вызвал на свет, ведет за собой и еще зло. Не отдай он Семена в отходники—не быть бы в отходниках и Антону.

Увидел, наконец, Аким и Антона. Посылал его хозяин куда-то в город получить деньги—вернулся, встретился с отцом на дворе около распространяющих зловоние бочек и взглянул на отца молча, как-будто не с отцом встретился, а с кем-то совсем чужим—обидно, но сердиться нельзя: вообще-то Антон смотрит так, как-будто весь мир ему чужой.

Увидел Аким, как проступила на лице сына твердость и точность, то, что незабываемо врезалось ему в память с первого же дня приезда Антона, с первых же его слов, и понял Аким, что на что же ему надеяться, если он видит все то же лицо—ни капельки не изменившееся от той страшной разницы положений, в которых был Антон и в которых находится теперь. Как-будто все равно Антону: быть ли на положении почти полного хозяина на отцовских мельницах, где Аким за все время пребывания Антона на мельницах ни разу не сделал ему замечания о порядке, ни разу не спросил отчета в деньгах,—с кого он получал на мельницах, за что? В деньгах, которые обидно попадали в руки Акима—не сам Антон их передаст, а через мать, словно этим хотел подчеркнуть, что всякие встречи и разговоры с отцом, хотя бы самые необходимые, деловые, ему тягостны.

А вот ездить по ночам с отвратительными, самыми простыми, без всяких приспособлений бочками, которые летом зловонными отбросами города заполняются не насосами, а обыкновенно ведрообразными черпаками, а зимой, когда замерзшие отбросы отбиваются ломом, лопатами,—это грязное дело Антону как-будто не тягостно, как не тягостно, повидимому, быть ему на посылках у хамоватого мужиченки.

Ничего не мог понять Аким: ну, если он своей жаждой к наживе был противен Антону, то как Антону не противен этот хозяин отходного промысла—самый низкопробный плут, который не погнушается за каждую вытянутую, где только это возможно, обманом копейку сто раз побожиться?

Ничего не мог понять Аким ясно в отношении к Антону, кроме смутного, тяжкого предчувствия, что все то, что происходит у него с Антоном, все это для него, Акима, не пустяк, а нечто очень важное, значительное. И не понимая себя сам, как он, такой кряжистый, сразу так обмяк, обезволил—Аким заплакал.

— Антон, милый ты, родной сын, не позорь себя и меня на старости лет.. Сними камень с меня—давит, гнетет так,—сну-спокою не дает! Уйди ты из эфтой тухлой ямы.. ну, не ко мне, если меня так не взлюбил, уйди куда хошь, живи, как хошь—я к тебе на глаза до смерти не полезу, но уйди отсель. Заведи себе какое хошь дело, какой хошь промысел—попристойнее эфтого вонючего, по твоему уму-разуму боле подходящее к лицу, дам я тебе на дело, сколько хошь—30, 40, 50 тыщ,—иди, хозяйствуй, живи, а не гнои себя, жену и детей своих в этой грязи и вони! Никаких денег для тебя не пожалею.

Ответил Антон—сразу, не думая ни минуты, точно давно знал, что скажет ему отец и обдумал свой ответ.

— Я понимаю тебя, отец, что ты думаешь и как думаешь. Да дело-то совсем не в том, как ты думаешь. Не надо мне ни твоих и ничьих тысяч. Не об этом думаю. И ушел я от тебя не потому, что обижен тобой, твоими словами обо мне, которые мне передал Семен, а потому, что мне при этом деле спокойнее: на твоих мельницах с утра до ночи шум, гам, люди, деньги, а здесь езжу я себе по глухим ночам и ни с кем не надо говорить много, людей много я не вижу. Так и живу: ночью езжу, работаю, а днем сплю. И так для меня лучше. Правда, работа грязная, неприятная, но что же грязь эта: сходил в баню—вот и чисто. Ну, а с людьми, когда много видишься—иной раз такая грязь к душе, такая грязь липнет—ты ее и моешь, и скребешь, а она все не отстает. А насчет камня твоего—снимай его с себя, отец, сам, я тут не волен. В себе я вот волен: снимаю с себя камней многовато, и тяжеловатое это занятие, отец, ну, да я не унываю: как-нибудь потихоньку-полегоньку от всех камней освобожусь! Жену мою и детей можешь к себе взять, если они захотят. Я их силком за собой не тащил, сами навязались, а когда я увидал, что тяжеловато им здесь, я говорил, чтобы шли к тебе—не идут, в слезы ударились. А гнать я не могу.

Больно кольнуло Акима, что его дом для жены Антона и детей, как зачумленное место — как будто хуже этого скверного двора и провонявшей избушки, но не задержался на этом Аким: дело не в детях Антона и ни в жене, а в нем самом.

И просиял было Аким.

— Антоша, родной мой, да чево же лучше: ежели так душа у тебя томится—иди в скит, в монастырь! Я богатый вклад сделаю—и живи в спокое, в тишине, никто тебе не помешает.

— Думал я об этом, отец. И если бы надумал—без твоего богатого вклада был бы там: работал бы—вот мой вклад. Да дело-то в том, что такого монастыря, пожалуй, нет: и там, отец, стяжение и лень. Вот я и решил, что лучше уж жить в мире. Жить—работать. Непременно работать; ведь хлеб готовым нам с неба не падает.

Все—ясно, просто, понятно. И так отнесся Антон к отцу как-будто помягче, поласковее, чем раньше. Точно в самом деле стало Антону легче в отходниках, чем на мельницах—и легче он отнесся к отцу.

Да, все ясно, просто, понятно, когда Антон говорит, но взглянул Аким на сына, увидел всю ту же твердость и точность, всю ту же страшную осмысленность на лице, а когда подумал, что же это за думы у Антона, при которых ему легче ездить в глухую, темную, иногда слякотную полночь рядом с вонючей бочкой, чем быть со своими думами ясным днем на людях,—подумал Аким об этом и ощутил, как волосы у него зашевелились под шапкой бобровой.

И сник Аким, уже окончательно убежденный, что никакими силами, никакими средствами не вырвать ему Антона из отходников. Не заметил он, как ушел от него Антон, не заметил, как и когда сам покинул вонючий двор, где пробыл и что делал в городе до вечера, как добрался до деревни—опомнился только дома при виде дожидавшегося его попа.

ГЛАВА XI.

Приготовила старуха самовар, поставила самогонку и закуску и хотела было уходить в свою старую мужицкую избу.

— Останься! Куда прешь-то? Гнал штоль тебя кто отсель кады?—сказал ей сурово Аким, но в это время его голос дрогнул и вышло не сурово, а так, как-будто Аким в чем-то виноват, просительно.

— А то не гнал? Забыл, как одного себя барином сделал, а другим сюда подступа не дал: вам ли, мол, лапотникам серым, в таких хоромах жить?—едко возразила старуха и тронулась было, но вернулась, села неловко в сторонке, как чужая: жутко и горько было ей итти в опустевшую избу, где оставалась с ней только одна бездетная жена Ивана, да и та по вечерам куда-то, после отъезда Антона, уходила. Видел Аким: и старуха на него восстает—всю жизнь была, как запуганная курица, а теперь зубы показывает. Хотел ее осадить, но промолчал.

— Я к тебе по важному делу, Аким Петрович,—заявил поп, жадно оглядывая обильную закуску:—да, по очень важному делу. И должен сказать, что этим делом я очень взволнован. Вот...—и вдруг перекинулся:—а хорошо ты, Аким Петрович, жить начал! За тобой теперь не угонишься. Почем паюсную икорку-то платил?

— Забыл,—хмуро ответил Аким, хотя и помнил цену.

— Рублей, наверно, десять—не меньше! А то, пожалуй, и с хвостиком. Дорого все стало—ух! Жить по-человечески невозможно. Так вот: по важному я к тебе делу, так-сказать—по нетерпящему отлагательств...—и опять перекинулся: —А рыжики-то какие—вид-то какой! Прямо, можно сказать—царские рыжики! И поди—своего изготовления? Снохи, или твоя старая солила?

Аким промолчал.

— А у меня вот попадья насчет всяких солений и мочений—швах! Не умеет. У тебя вон моченый арбуз как выглядит? в высшей степени специально замочен. А ветчина—тоже поди от своего кабана?

Не любил Аким в попе жадности к обжорству. И не вытерпел.

— Да ты о деле-то, а ты все о жранье. Говоришь: очень эфтим делом взволнован. Я вот взволнован—так мне не до жранья.

Поморщился поп—и так ясно: чем, мол, мужик больше богатеет, тем больше наглеет и грубеет. А ответил елейно:

— Натура, Аким Петрович, натура. Все дело в натуре. Я вот, как взволнован, так мне есть давай и давай. Желудок в это время особенно требует. Иначе—и рассказать дела не могу. Так ты уж, Аким Петрович, прежде мне разреши,

если сам компанию не можешь разделить, червячка заморить, а потом уж я тебе и доложу... Важное дело!

— Да ешь, и пей, рази запрещаю. Затем и подано,— ответил Аким с гримасой, как-будто у него зуб вдруг заболел.

Поп принялся выпивать и есть. Ел не торопясь, „со смаком", прищелкивая от удовольствия пальцами, что выходило как-то особенно непристойно, и болтал—целую лекцию о том, как надо есть, жевать.

Аким смотрел, как постепенно убавляется со стола вся закуска и с ненавистью думал, что не заговорит поп о деле до тех пор, пока не съест всего. Он знал, что как трудно оторвать корову от жвачки, так и попа от еды; знал, что во время еды попа даже оскорбить нельзя, что бы ему ни сказали.

Акиму не жалко было того, что поп съест, ибо ест человек свой, нужный, к обжорству которого Аким привык, но уже не хватало сил терпеливо смотреть на это чревоугодие, которому точно конца не будет, и он грубо буркнул:

— Эх, батюшка, ну и тезево же (брюхо), прости Господи, у тебя. Кажись,—за десятерых слопает!

— Фарисействовать сан не позволяет: верно—слопает!— кротко ответил поп и, отправив в рот кусок хлеба с толстым слоем сливочного масла и икры, даже закрыл глаза от наслаждения! ах, и икра— тает, прямо тает, как мед! Где брал-то?

Опять Аким сделал гримасу, точно у него зуб заболел, и уже взмолился:

— Да уписывай, батюшка, за Христа-ради! Дело, говоришь, важное, а сам душу из меня тянешь. Я севодня такого горького хлебнул—в жисть свою такого не хлебал, не пробовал, скуса не знал. А тут ты еще томишь!

— Сейчас, Аким Петрович. Я уже и по лицу твоему вижу, что хлебнул ты сегодня, как говорят, горького до слез. И у меня к тебе дело—не сладкое! Поверь, не лицемерю по сану своему: я этим делом, важным делом, оче-ень, оче-ень взволнован. Дело, так-сказать, не терпящее отлагательств и требующее принятия немедленных мер... Вот, погоди, сын мой, секундочку, дай духу набраться...

И поп налил себе полстакана вина, выпил, отправил в рот кусок ветчины, который предварительно чуть не три минуты вертел в руках, уснащая горчицей и, прожевывая не спеша ветчину, умиленно тянул:

— О, Иисусе сладчайший! Да и ветчина же—прямо как балык тает. Потом и самогонка у тебя—королев-ская! Чистота, прозрачность—кристальная! И запаху никакого, как у мужиков. Фуй, у мужиков самогонка—воняет хуже отхожего места! Где ты такую, сын мой духовный, берешь?

— А сколько я знаю—и мужицкую, батюшка, жрешь— зло бросил Аким.

— Жру, жру, сын мой духовный,—кротко подтвердил поп—грех таить: и мужицкой не брезгаю! О, да-ры земные! Примемся-ка, сын мой духовный, за деревенские изготовления—за кап-пустку, за ар-буз-ик, за огурчики соленые! Вид такой—прямо хоть на выставку. Мастери-цы у тебя, Петрович, бабы. За такое высокое искусство можно им все грехи отпустить! А моя вот попадья, чортова пер-речница— швах! Не умеет... ни бельмеса! Уж я ее и так, и сяк, торкаю, шпыняю—все надеюсь, что натаскаю—это, сын мой духовный, любезный сердцу моему Петрович, так охотники про собак говорят, когда их дре-сируют—и все труды мои идут пра-хом. От тебя, любезный Петрович, тайны не таю. Все поведаю! Так еще сердится, толстомясая... Сама пудов на шесть и поку-шать тоже любит, а туда же дерзит, супротивничает, сана моего духовного не уважает: бу-ду, говорит, голову себе забивать твоим брюхом... и без того настоящий боров в рясе. Каково, Петрович, а, не обидно? Да и по сану непристойно от жены богоданной такое слушать!

Знал Аким, что если поп станет тянуть слова, восклицать, звать его сокращенно „Петрович", а вместе с тем все потягивать вино и жевать, жевать, — то дело плохо: наболтает поп о чем угодно три короба, а о деле по причине усиленного пищеварения сказать толково не сможет: побормочет тяжелым, косным языком что-то и заснет тут же на месте.

И заходили у Акима скулы — признак, когда он был способен драться. Даже старуха испугалась — так заходили, что она редко видала.

— Ну, ты, отец, тово... потишай! Как-никак, а, ведь, батюшка...

— Ну, ты, не лезь не в свое дело... Курица безмозглая! —

бросил сердито Аким и в то же время с удивлением заметил за собой, что начинает очень внимательно прислушиваться к старухе. И посмяк:—Ну, старуха, подумай сама: ведь он меня режет, убивает. У меня северня такой день, такой день! А он долбит: важное дело—разжигает, а о деле ни гу-гу.

— Потерпеть надо, отец. Как никак,—батюшка.

И совсем смяк Аким. Даже помирился с тем, что не услышит сегодня от попа о деле. Но пережитое Акимом за день волнение чего-то все-таки требовало, и решил Аким выпить, хотя в последние годы пил понемногу и редко: сердце после сильно болело и голова на другой день была очень тяжела.

Подошел Аким к столу и налил полстакана — подумал немного и дополнил стакан.

— Вот за это, чадо мое духовное, люблю и уважаю, — промолвил поп, обсасывая с причмокиванием арбузную корку.

Еще немного подумал Аким и налил рюмку.

— Иди, старуха, выпьем.

Поглядела старуха на Акима удивленно, — чудно, никогда таким не был.

— Ну, чаво смотришь-то? Ведь, знаю — пьешь!

Подошла старуха, взяла рюмку, потянулся к ней Аким со стаканом чокнуться — так неловко, неуклюже, точно его старуха — молодая девушка, а он — робкий, застенчивый парень. Выпили. Пожевал Аким соленый огурец и отошел от стола. Поп так зычно рыгнул, что Аким рассмеялся, вынул из маленького кармашка поддевки золотые часы, положил их перед попом на стол и сказал мягко, без тени раздражения.

— Ну, отец мой духовный, ты посмотри: больше часа жуешь! Никакого терпения не хватит. Ведь, сыт-пересыт, если твое тезево рыгать начало, а ты все его гвоздишь, гвоздишь! Прямо — уму помраченье.

— Хе-хе-хе! — пустил октавой поп.

— Чаво ржешь-то? Добра не жалко. Ну, перекусил, сказал в чем дело, и тады ешь хошь до смерти.

— Хи-хи-хи! — пустил поп уже тонкой фистулой, но поперхулся и рыгнул уж так, что во всех углах дома раздалось, а старуха от испуга чуть не перекрестилась.

— Ну, я же говорю: сыт-пересыт. Отвались! Скажи, в чем дело-то? — просительно сказал Аким — а потом, ежели уж ты так охоч, приваливайся опять.

Устыдился ли поп, или в самом деле насытился, но поморгал сузившимися, как щели, глазами и действительно „отвалился“, вытер усы, бороду большим красным платком и возгласил шутливо-пьяновато:

— Да будет благословение дому сему отныне, присно и во веки-веков. Аминь!

Потом завистливо ткнул неприятно отекшим, как толстая сосиска, пальцем в часы.

— А хороши, Петрович! Ведь, по правде говоря: как был ты мужик, так им и остался. А вот часики носишь такие — не всякий барин имеет. Завидно, но ничего не поделаешь: фортуна.

— Да брось, батюшка. Опять замолол о пустяках!

— Часы-то золотые — пустяки? Хо-хо-хо! Да еще по нынешним временам! В больших значит капиталах, Аким Петрович, обретается, если такую штучку называет пустяками.

— Да брось, говорю. Ежели в каком сурьезном деле помочь окажешь — подарю тебе эту штучку. Носи — радуйся!

— Но-о!? — пустил поп такой высокой нотой, что опять во всех углах раздалось: — за это люблю и уважаю, Петрович. Так приступим, Петрович.

— Ну, наконец-то! — и Аким с усмешкой перекрестился — Дождался-таки!

— Важное дело... Очень, оче-ень я им взволнован! Обрати на него, Петрович, самое сугубое внимание. Суть в том: по деревне о тебе идут боль-шие разговоры. Когда ты выгнал из дому дурачка Семена — наши мужички поговорили, да замолкли. А ты зря это сделал: Семен-то хоть и слабоумен, а ведь работник — первый сорт, хлеба даром у тебя не ел, а во-вторых — парень ко всем добрый, уважительный, а если к тому же в голове у него не все дома — таких народ очень любит. „Божьи, мол, люди“. Это уж мы, попы, научили. Ну, а когда от тебя Антон ушел, — не выгнал ты его, а сам ушел, — тут тебе народ не только Семена припомнил, а такого тумана напустил, что Боже упаси! Вот он, мол, дом-то богатый: сами бегут из него; вот они, мол, денежки-то на чужой нужде, да на слезах нажитые где сказываются: сами

сыновья от них бегут, да еще куда — в отходники! Хорош, значит, дух-то в богатом доме. Глуп, конечно, народ. Между нами говоря, Петрович: деньги ни потом, ни кровью не пахнут. Конечно, в старое время на все эти разговоры наплевать бы; а теперь — не плюнешь. Живем в такую пору, когда можно легко и головы не сносить. Теперь с народом — смотри в оба! Вот и даю тебе, Петрович, душевный совет: верни ты сына Антона в деревню. Да сделай так, чтобы когда он вернулся в деревню, так пустил бы по народу такие словечки: каюсь. мол, по глупости было от отца отошел! Ну, конечно, понимаешь, как это надо оборудовать: где сына припугнешь, где — подмаслишь. Понял, Петрович?

— Так, значит, вернуть Антона, да еще заставить, чтоб он душой покривил? — и Аким горько усмехнулся: — а если я тебе, батюшка, скажу, што это невозможное дело?

— Чадо мое духовное, невозможного ничего на свете нет! — тон попа был уже строг — я тебе говорю: ты хоть в лепешку перед сыном расшибись, а верни его в деревню. Не мне тебя учить — знаю, сам хорошую хватку имеешь. Одно говорю: необходимо сына вернуть в деревню. Пойми: большая смута умов идет, от которой нам может непоздоровиться.

— Какая в народе смута идет, — я не знаю, хотя, конешно, догадываюсь, как наши пустоболты языками звонят. А вот какую смуту Антон на меня навел, — это я хорошо, батюшка, чувствую. Ты говоришь „в лепешку расшибись“. Хуже седодня было. Грязнее всякой грязи Антон меня стер. Уж куда там его в деревню вернуть! Я его седодня вот как просил — в слезы перед ним ударился! — и просил только об одном: штоб он из отходников ушел и какое-нибудь свое хозяйство, аль какой там промысел завел. И давал ему на это деньги — без отдачи, без благодарностев там глупых: бери деньги и иди куда хошь, делай, што хошь — только вон из отходников. И какие думаешь, батюшка, деньги давал? а? — пятьдесят тыщ давал! И больше бы дал, если бы согласился; да куда — ни о каких деньгах слышать не хочет.

Сузившиеся глаза попа широко раскрылись и округлились по-совиному.

— Что? Пятьдесят тысяч? И слышать, говоришь, не хочет? Может, я ослышался?

— Нет, не ослышался.

А если не ослышался, то кто же это твой Антон-то? Хо-хо-хо! Ха-ха-ха! — пустил пот такой густой октавой, что огонь в висячей большой лампе дрогнул и заколебался: — Да как же это ты, Аким Петрович, опростоволосился, как не смекнул, что этот твой Антон на подобие дурака Семена вышел. Постой, постой, не махай руками! Не обижайся. Я понимаю, что не от природы Антон глуп, — разве я его не знал, — знал, а тут не иначе, как война тронула Антона. Не один — много их таких объявится! Теперь-то я тебе уж советик верный дам: с умными разговаривают, а с дураками — или обманывают, или приказывают им. Езжай к Антону, ну, проведи его там как-нибудь, а если упрется, — бери возжи и гони, как овцу, в деревню. Грех, конечно, да что ж делать, — без греха не проживешь. А тут уж мы его вместе обделаем в лучшем виде! Больше и говорить, чадо мое духовное, не хочу — действуй, дело теперь только за тобой!

— Ты так думаешь, батюшка? — тихо вымолвил Аким — дурак, значит, по-твоему Антон стал на манер Семки? А не переменишь слова?

— Ни за что! Пятьдесят тысяч? а? Дурак, дурак и дурак! Форменно твой Антошка свихнулся. Так и считай: не только у Семки, а и у Антошки не все в голове дома.

Был лют Аким, но никогда не чувствовал, что он лют; если иногда хватал через край, так находил потом, когда немного сердце отходило, что „пересолил маленечко“ и только. Но тут Аким почувствовал, что лютость в нем вдруг открылась, от которой он сам содрогнулся. Пошло у него лицо белыми пятнами и скулы заходили так, — все лицо точно в судороге перекашивалось.

— А я вот што тебе, отец духовный, скажу. Не дурак Антон, а человек такой святости, — нам с тобой, батюшка, такое и не приснится во век! Куда нам! Жулики мы с тобой, обманщики самые последние, и души свои так испакостили, что таких людей, как Антон, и не поймем. Стопы целовать у их должны...

— Постой! Постой! поп побагровел, жилы у него напружились на лбу, как веревки: — Не выпил ли лишнего, Аким Петрович? Не заговариваешься-ли? Жулики, обманщики самые последние — эти не переменишь слова?

— Не переменю, — злобно бросил Аким.

— А не переменишь — попомнишь и поплачешь, Мало я про тебя твоих штук знаю? — и поп встал.

— Не грози,—и Аким придвинулся к попу—хвостики-то у нас, у обоих, батюшка, так замараны и так переплелись, что лучше уж нам друг про дружку помалкивать. Уходи-ка подобру, по-здорову домой, а то еще на грех наведешь на большой!

Поп взглянул на Акима, вмиг переменился, трусливо пробормотал: „Ну, свет мой“ и с необычайной для его грузной фигуры легкостью выпорхнул из дому.

Аким подошел к столу, выпил залпом стакан самогонки, передохнул и уставился на старуху. Увидел ее сухое, маленькое — с кулачок, сморщившееся, как печеное яблоко, лицо, выцветшие глаза, из которых медленно, скупо, страшно пробираются по морщинкам щек едкие слезы: давно устали эти глаза плакать бурными, обильными слезами, но горе, вечное, неизбывное горе, все их жмет, все точит из мозга, сердца, из души — оттого так и суха-старушонка: вся слезами изошла.

И чем скупее ее слезы — тем горше, ядовитее, как всякий сильный яд смертельный и в малых дозах.

Старуха даже не слышала, как, что говорили поп и Аким. С нее довольно было первого звука о сыновьях — и не надо было ей слушать дальнейших чужих слов, ибо глубже и убедительнее того горя, какое поднялось в ней, как в матери, ей никто и ничего не мог сказать.

С тех пор она и плакала.

И глянуло на Акима из-за суховатой фигурки старухи молодое, красивое лицо, живые, беззаботные, задорные, пламенные черные глаза, сильная, стройная, гордая и лукавая, пронизанная сознанием обаяния от головы до пят, фигура: такой была старуха сорок лет назад.

Куда все делось, улетучилось, исчезло без малейшего следа, без слабой тени былого образа? Как-будто кто-то страшно зло подшутил — поставив на место одной женщины

другую. И Аким уж знал, кто так страшно зло подшутил над ним: он сам над собой. Только впервые ему так ясно вырисовалось его ничем уже не искупимое преступление пред старухой; всю, как на ладони, он видел свою долгую жизнь и свою жестокую пяту, которая без отдыха, без срока, без единой оглядки на себя — сколько она, эта тяжелая пята — давила на старуху.

Он увидал всю свою лютость и странно — тысячи людей пострадали от этой лютости, одни — больше, другие меньше, а больше всех этих тысяч людей, взятых вместе, пострадала его старуха, как-будто только за то, что она ему была ближе всех, соприкасалась с ним чаще всех. А страннее и страшнее всего показалось Акиму то, что ее красоту и молодость он в молодости любил, что она радовала его чувства и мысли, но что же он за ее красоту и молодость, за ее труд, за ее вечные заботы о нем дал ей?

Он давал ей только суровые распорядки жизни, только грозные окрики, он копил и сбивал всеми правдами и неправдами деньги, которыми жена ни в молодости, ни в старости не могла по своей воле распорядиться ни единым грошем, — теперь у него денег много и теперь, когда он прозрел, он не пожалеет для старухи никаких денег, если бы она пожелала их иметь, но она иметь не пожелает их, ибо деньги во мнении старухи — самое страшное зло: она деньги ненавидит, и только за одну эту ненависть Аким истязал ее всю жизнь, — только за то, что она не разделяла его любви к деньгам, его ненавистного стремления к ним.

Но что деньги? Он оторвал от матери, уже стоящей на краю могилы, ее детей, и нет у него никакой возможности вернуть под один кров с матерью не только Антона, но хотя бы слабоумного Семена.

Чувствовал Аким, что пока был в деревне Антон, Семена возможно было бы вернуть в деревню, но теперь, когда Семен с Антоном вместе, — нечего и думать, что Семен оторвется от Антона.

На миг у Акима мелькнула мысль, что Антона тронула война и в его уходе он неповинен, но сейчас же ясно стало Акиму, что зло войны отразилось на Антоне само по себе, а зло его дома — само по себе: не раскрывай он Антону с первого же дня его появления в доме, что он страстно ждал его,

как помощника корыстных планов, как „нажитчика", не ставь Антона на мельницу в тягостную ему обстановку опять-таки хоть и небольшой, но все же наживы, подойди он к Антону с первых же шагов почутче, повнимательнее, предоставь ему право выбора работать, что он хочет — в поле, по дому и, может-быть, Антон не ушел бы. Наконец, если вообще бы Антону был противен отцовский дом с его духом насилия одного над всеми во имя наживы, то почему бы Акиму ни посоветоваться с Антоном о перемене уклада жизни и почему бы не согласиться на все, какую бы ломку жизни Антон не посоветовал, как бы они резко не расходились с тем, что заведено было в доме раньше: почему не переломить себя ему одному на склоне дней своих во имя всей семьи, где есть только-что открывающие на жизнь глаза — дети, когда он ломал во имя только свое всю жизнь жизнь всех домашних?

И показалось Акиму, что все спасено: поедет он к Антону, грянется в ноги и попросит Антона вернуться с тем условием, чтобы какой бы образ жизни Антон ни установил — Аким всему подчинится. И ласково, мягко взяв старуху за руку, Аким уверенно сказал:

— Не плачь, мать. Утри слезы. Завтра, али после завтра твои сыновья будут дома. Ручаюсь.

Старуха посмотрела на Акима как-будто с недоумением, — как, мол, это можно сделать? Потом как-будто с недоверием — может, только утешает? Но скупые слезы уже высохли и радость проступила жалко и трогательно, по-детски забито и смущенно на старом, сморщенном, ссохшимся в кулачок лице.

ГЛАВА XII.

Эту радость матери Аким хорошо заметил и крепко запала она ему в память.

На другой день он, как всегда, встал рано утром и думал было побывать на мельницах, в кузнице, но голова от выпитого вчера вина болела и была тяжела, как налитая свинцом, и не хотелось Акиму двигаться никуда: пробыть бы денек дома, полежать бы и пообдуматься поосновательнее...

Так он и сделал: не пошел ни на мельницы, ни в кузницу — остался дома, но лицо старухи мерещилось ему так неотступно, так назойливо, поднимало такую муть мыслей и воспоминаний, что Аким со страхом думал, как бы старуха не заглянула к нему, не увидела, что он дома. И, действительно, старуха пришла. Едва переступила порог и остановилась с высоко, как бы от крайнего удивления приподнятыми кверху, бровями, и заговорила как-будто не своим, незнакомым Акиму голосом:

— Вот диковина: ты не уехал? Верчусь по твоему (а по твоему!) сказала так, точно всю свою жизнь считала себя при Акиме наймичкой и никогда не смотрела на его хозяйство, как на свое) хозяйству, ан смотрю — лошадь твоя, значит, мол, хозяин дома. Как так?

— Да так... Пересолил вчера в вине-то маленечко, а севодня вот и гнет меня. Сильно недужится... полегчает вот...

Хотел было Аким добавить, что поедет к Антону завтра, но взглянул на старуху и увидел на ее лице такое страдание и тяжелое недоумение, — как, мол, он, Аким, смеет отговариваться от поездки в город к сыновьям под предлогом каких-то недугов, — что. Аким поспешил добавить совсем другое:

— Да еду, еду! Сказано вчера, што еду, значит так и будет. А ты не веришь, досматриваешь... Хорошо эфто?

Старуха молча исчезла. Аким поехал в город. Дорогой кряхтел от нездоровья и тяжело думал.

Он уже раскаивался, что выпил вина и в опьянении так опрометчиво пообещал старухе, что вернет сыновей в дом. На трезвую и больную с похмелья голову это представлялось задачей трудной, а то и совсем невозможной. Уж немыслимым казалось Акиму подчиниться Антону во всем, чего бы Антон ни потребовал. Акима пугало, что такой, тронутый войною человек, как Антон, может, пожалуй, потребовать, чтобы Аким ограничился только грубой, неблагодарной работой на земле, потребовать отказа хотя бы от самой маленькой наживы, и что же — неужели тогда отказаться от торговли и заняться только ковыряньем в земле, превратиться в серого, грязного, одетого в убогую одежду, мужика?

Быстро мчался рысак, выбивая копытами блестящую, снежную пыль, тепло было от меховой шубы, от бобровой шапки, тепло от меховой полости на маленьких барских

санках и при мысли — а вдруг при той жизни, какой потребует Антон, придется отказаться не только от всякой торговли, а от всех тех удобств, которые уже имеются, — жить в старой, темно мужицкой избе, ездить на телеге, носить серые сермяги, — у Акима до боли сжималось сердце и казалось, что как бы ни был прав Антон, но всякой правоте есть границы.

Но напрасно волновался Аким. Встретил Антон отца на дворе хозяина-отходника с мягкой усмешкой:

— Чую, отец, опять ты приехал мне голову забивать?

Растерялся Аким. Ожидал, что встретит его Антон по своему обыкновению молча, одним только твердым, выжидающим, что скажут, взглядом. Оказалось, первые слова сказаны сыном. И вид у Антона таков, как-будто живется ему все лучше и лучше: более спокойное лицо, на котором не видно той напряженности, с какой явился Антон домой.

Немного оправившись, сказал Аким кротко, просительно:

— Ты мне, сынок, больше голову забил, чем я тебе. Думал я о тебе не мало и приехал просить, чтобы ты домой вернулся. Неладно, сынок, так жить, как мы живем. Уж за себя я не прошу, знаю, што меня ты не жалеешь, за мать-старуху прошу: с ума старуха сходит, пожалей ее, успокой— вернись домой!

— Да зачем мне дом твой, если я раз из него ушел?

— Затем, чтобы спокой в доме был. Живи в доме, как хошь, делай што хошь, препятствовать, сынок, ни в чем не буду. Старуху-мать пожалей, ежели меня не жалеешь. Сердце разрывается смотреть, как она убивается!

Видел Аким, как Антон поморщился, а затем стало его лицо опять твердым: ничем не тронешь.

— Домой вернуться? Не подходяще это, отец, для меня. Старая в твоем доме жизнь и, как ты ни вертись в ней, отрыжку она будет давать. Думаю я о другой жизни. В твоем доме, — да и не только в твоем, а и во всей деревне разве человечья жизнь? — волчья жизнь. Я вот подбираю тут в городе подходящих людей и, как только подберу достаточно, махнем мы, отец, в Сибирь — в тайгу самую глухую, и жизнь там новую будем налаживать: такую, чтобы зависти не было и чтобы человек человеку ни в чем волком не был. Я еще на войне, отец, об этом думал.

Был у нас генерал—молодой еще и такой во всем дошлый, прямо загляденье. Пойдет ли, поедет ли, речь ли перед солдатами перед боем держать станет—картинка да и только! Насчет речей особенно—большой мастак был говорить. И сам не трус, как другие генералы, были: не раз с винтовкой в руках солдат в атаку водил. И твердил он нам каждый раз перед боем: за мир и братство народов, мол, воюем. Верили ему солдаты сильно. И я верил, и так дрался— скольких людей покрошил?—и сам счет этому не знаю. Был раз такой бой—трое суток не спали. Выбьем мы немцев из ихних окопов, а они выбьют нас; мы их опять выбьем, а часа через три они нас вышибут. Так раз восемь окопы переходят из рук в руки. Дают нам знать—держитесь, мол, шлем подкрепления, а все нет и нет этих подкреплений. Дрался с нашей стороны целый корпус—и чуть не весь полег там. Да и немцев не меньше полегло. Под конец до чего дошло: кулаками и зубами дрались. Такое затмение—у иного винтовка еще цела в руках, а он ее хлоп о земь, а врага наровит взять зубами за горло! Ну и мне пришлось так схватиться с одним немцем. Сцепились, тискаем друг друга давим, головами мотаем—зубы все в ход хочем пустить так, чтобы первому цапнуть за горло. Вижу я морду у немца— побелела вся, да и у меня морда, наверно, такая же была: тоже трусил не мало. Слух такой нехороший у нас шел: как у нас, так и у немцев, будто бы такие солдаты были, которых „грызунками“ звали. Понемножку такими будто бы стали: нет винтовки в руках, ну, значит, нападай или обороняйся кулаками, а за кулаками и зубы в ход пускай. А потом будто первым удовольствием для этих „грызунков“ было до чужого горла зубами дорваться и живую кровь из него попить. Сказки рассказывали: стоит, мол, только раз таким манером крови попить и никто тебя не победит. Боремся с немцем. Здоровый был. Ну, и я не сдавался. Как подумаю: а вдруг на „грызунка“ напал? И лютость такая берет, что лучше, мол, я его крови отведаю, чем он моей. Незнаю, кто кого осадил-бы: я его, он-ли меня. Бахнул неподалеку от нас тяжелый снаряд и оглушил нас обоих. Ну, очухались, лежим, оба неранены, так поцарапаны слегка, а встать не можем. Смотрю на немца, протянуть руку—и вот он. И он на меня смотрит. Оказалось—в России жил и по-

русски хорошо говорить умеет. Спрашивает у меня:—А нет ли воды, земляк? Пить как хочется!—Было у меня воды немного—дал ему. А у него коньяк нашелся—выпили мы этот коньяк пополам и заспорили о войне. Говорит немец:—Зачем вы, русские на нас пошли? Чего вам от нас понадобилось? Спорили, спорили, да так и не доспорились. Спрашивает меня немец: Ну, за что вот сейчас-то воюете?—А воюем, мол, за мир и братство народов. Чтобы все, мол, после войны братьями были—и французы, и немцы, и англичане и мы русские—все братья! Так, мол, нам генерал говорит:—Генерал? Как это так?—говорит немец—а нам наш генерал то же самое говорит. Вот кончим войну, проучим кого следует и будем все братья. И задумались мы с немцем. То друг другу чуть горло не перегрызли, то лежим и догадки делаем, что не иначе, мол, генералы нас обманывают, что не чистое, мол, тут дело, если с обеих сторон солдат одними и теми же словами проводят.

Неподалеку от нас снаряды рвутся; того и гляди—шлепнется около нас и останется от нас с немцем только мокренько, а нам даже смешно. Как это так—и немцы за мир и братство народов, и мы—за мир и братство народов! Неиначе, мол, тут подвох со стороны генералов. Ну, мы народ темный, а генералы должны знать, за что кровь миллионы людей льют. И договорились мы с немцем—оба поняли, что плохое это братство народов будет после войны, если к нему через такую кровь люди шли; поняли, что к братству народов хорошим словом и делом надо итти, а не таким каиновым грехом, как война. Ну, отлежались с немцем, встали, руки друг другу подали, потом взглянули друг на друга, оглянулись вокруг—Боже ты мой, людей убитых и искалеченных, что сена накошено—заплакали и немец и я, и разошлись, каждый в свою сторону. И встала мне с того дня война поперек души. Начал я отлынивать от боевой части и удалось—в обоз попал. И вскоре после этого раскусил, что из-за корысты войну затеяли, а не из за братства народов. Все понял—в какой дурман генералы, газеты и всякие там образованные люди темных солдат вводят. Немцам наша земля понадобилась, а нам Дарданеллы эти, будь они неладные. Понял, что кровь-то солдат лей, костьми на поле брани ложись, а в конце концов, ежели

завоюют хоть десять Дарданелл, пользу от этого не солдат получит а кто-то другой, кто не разу не нюхал, что это за штука—война. И так мне стала противна всякая человеческая корысть—даже тебе, отец, перестал поэтому писать о себе. Нечего тебе стало писать. Тебя попросишь о жене, о детях, о матери написать—живы-ли, здоровы-ли? А ты об этом ни слова: все только о своих делах, все только о деньгах. И еще там на войне я решил: если жив буду, домой вернусь, а жить в твоем доме не буду. Понял, отец?

Помолчал Аким.

— Понял, сынок, чаво не понять. А я только опять одно скажу: ежели меня не жалеешь, так мать пожалей. Дюже убивается старуха.

— Жить ей недолго осталось—похоронил бы ты ее, а тады и шел на все четыре стороны.

— Не уговаривай,—твердо сказал Антон—меня не уговоришь.

— „Не уговоришь"—хмуро повторил Аким и переменил тон на заискивающий, умоляющий:—тады вот што, сынок: сделай ты мне последнюю великую милость—поедем со мной, уговори мать, штоб она поняла, какой ты есть человек, што тебя в доме не удержишь—успокой ее, штоб сердце мое не разрывалось глядючи на ее!

— И этого, отец, не буду делать,—еще тверже ответил Антон:—как бы я мать ни уговаривал—не легче ей будет оттого, что ее сыновья почему то не хотят жить в доме. Мне ее жалко—радости она с тобой, отец, мало видела.

Ухватился Аким.

— А ежели мать жалко—почему же родительской просьбы не уважишь: вернулся бы домой, недолго нам со старухой осталось жить, а тады бы и ехал куда глаза глядят. Все наследство бы мое получил,—Аким подался Антону,—а оно, сынок, немалое и теперече, ух немалое! Как ты думаешь—какие я дела делаю? Я такие дела обламываю—тыщи ко мне кажный день прут!

И впервые, после того, как вернулся Антон с войны увидел Аким на лице сына улыбку.

— Меня не соблазнишь своими тыщами. Вот если бы я тебя соблазнил своим планом—было бы, отец, очень хорошо.

Бросай свою жадность к наживе здесь, подберем людей подходящих десятка четыре, закупим на твои деньги машин и принадлежностей всяких нужных для сельского хозяйства, ну, одежонку, обуженку для людей—и поедем-ка в Сибирь, в тайгу глухую новую жизнь налаживать.

У Акима даже глаза выпучулись.

— Погоди, Антон! То есть, как эфто так... Ну, убью я свои денежки на какую-то, прости Господи, голь-перекатную, поеду с этой голью в тайгу, а што я за это-то получу, што я буду в тайге делать?

— Спасибо получишь, отец. А делать будешь тоже самое, что все будут делать: работать вместе со всеми. Вот там то я тебя с матерью, когда бы вы отжили свой век, и похоронил бы.

— Только то!—и Аким зло усмехнулся:—Ну, на это я, сынок, не пойду. Больно уж много ты от меня захотел. А вообче, я про эфто думаю, што такого дурака, который бы плюнул на эфто всем своим капиталом, во всем свете, пожалуй, не сыскать. Будем уж, как видно, здесь со своей старухой как-нибудь свой век доматываться. Умрет старуха первая—я ее похороню; умру я—она меня похоронит. А последняго из нас кто-нибудь из добрых людей похоронит. Што ж... видно судьба наша со старухой такая: от троих сыновей такую участь потерпеть!

И опять улыбнулся Антон.

— Да, да, отец. Может, так и будет. А меня все-таки это не разжалобит. Сказано в священном писании: „пусть мертвые хоронят своих мертвых“.

Не понял Аким смысл „мертвых“, а жутко стало.

— В каком эфто священном писании—я што-то не слышал. И о каких таких мертвых речь ведеш?

— Да о таких, как ты, отец. Не думай, что ты живой, ты—мертвый. И не живешь ты, а смердишь. И мать, пожалуй, уж мертва—забил ты ее. А священное писание—евангелие. Много я его на войне читал. Попроси кого-нибудь почитать—послушай и подумай. Может, что и поймешь.

Взглянул Аким на сына и испытал странное чувство: и ненавистен ему Антон, так ненавистен, что легче, кажется, убить его, чем видеть живым, и дорог, так дорог—уступи ему Антон, не требуй с него, чтобы он лишился всего капитала для каких-то неизвестных людей и гнул на старости лет спину над землей в сибирской тайге, позволь ему Антон быть таким честным купцом, которых все уважают за то, что они не дерут семи шкур, а довольствуются малой прибылью—позволь ему это Антон—и он молился бы в душе на Антона, как на святую икону.

Но непоколебим Антон, неуступчив, и от бешенства Акиму хотелось разбить ногой в двух шагах стоящую вонючую бочку. Но сдержался и обидчиво сказал:

— И зато, сынок, спасибо, что севодня мне наговорил. Скажика-ка теперича—дома ли Семка? Пойду от умного сынка к дураку—может дурак помягче будет.

Дома. Наверно, спит,—ответил Антон и с тем же спокойным лицом, с каким начал разговор с отцом, пошел в свою избенку.

ГЛАВА XIII.

Посмотрел Аким Антону в спину—сильная, гибкая, ловкая спина, напоминавшая прежнего разбитного, дерзкого, жадного на наживу Антона, припомнил, сколько планов он связывал с возвращением Антона и уныло поплелся в общую работницкую избу. Жило в этой избе восемь человек и была она загажена во много раз хуже избы Антона. Застал Аким налицо четырех работников; двое сидели за столом и пили „огонек“ (денатурат для освещения), разбавляя его водой, от которой он белел, как молоко. Один из пьющих—был кривой, лет 20-ти парень, другой—лет под 40 мужик, худосочный, в неовобразимо грязных, скверно пахнущих лохмотьях, представляющих якобы рубаху и штаны.

Мужик был пьян и непрывно изрыгал отборную площадную брань неизвестно по какому поводу; кажется, просто этой бранью самоуслаждался. Остальные двое работников—Семен и тоже молодой парень—крепко спали. Мужик не дал Акиму времени даже добраться до постели Семена—накинулся на него со злобной бранью. Трудно было уловить и связать то, что он хотел выразить, ибо из десяти слов одно, два слова были словами, выражающими смысл, а остальные девять или восемь все словечки „шестиэтажные“.

— Что, богатей проклятый... мироед чортов... явился! К сыну значит... хорош, значит, родитель, ежели от такого

богатства сыновья в золотарики идут. Иди-ка, чортова душа, огонькю выпьем: двадцать рублей за бутылку плачен. Вот как мы!.. Каким делом займаемся—золотарики несчастные, а денег не жалеем. И всех, не как вы, жадюги, мироеды, угощаем. Жри в мою голову, богатей!

Аким взглянул на мужика—темные волосы у мужика на голове стояли колтуном, густая, черная борода была както особенно безобразно растрепана и, как показалось Акиму, были на этой голове и бороде следы работы золотарика.

И отвернулся от мужика Аким.

— А, не хочешь огонькю нашего, фараон, кровопивец людской! Вот походи-ка за сынами-то... С виду-то каков: прямо купец—милиёнщик. Ни в жисть тебя не увидал бы тут, у нас, золотариков, ежели бы не сыны-то. Стыдно от добрых людей-то—вот и обиваешь вонючие пороги. Да куды... зря стараешься... Не пойдут сыны-то к такому людоеду... Не пойдут! А зазор-то какой, зазор-то! Ну, туды-сюды я, разнесчастная моя голова... Ни в жисть у меня не было ни кола, ни двора, ни бабы, ни детей... Гол, как сокол—голее меня, видно, в свете не сыщешь. Сиротинушка я со дня рождения... подкидыш... приблудной... крапивник! Ни роду своего, ни племени не знаю,—ну, мне как-будто и стать в золотариках находиться... А сыны твои, от богатства такого! Значит хорош, чорт старый! Значит больно сладко житьишко у тебя, ежели в такую пакость, как наш брат золотарик, сыны твои бегут!

Слова мужика были ехидны, едки, полны злобно-радостного сознания, что можно в этой вонючей избе бедному „золотарику“ сколько угодно глумиться над богатым Акимом.

Аким то страшно бледнел, то багровел и казалось ему, что то глубокое унижение, с которым он переступал за дверь отходника, то унижение, над которым издевается какой-то совершенно потерявший образ человеческий мужик, разрастается до такой степени, что не выдержать Акиму: были на этой голове вспыхивали в глазах его то зеленые, то красные круги и думалось Акиму, что вот-вот он сейчас в этой вонючей избе свалится.

— Да не лай, как цепная собака, попристойнее надо, эка ты какой!—унимал мужика кривой парень мягким, почтительным к Акиму тоном, но чувствовал Аким, что в душе

этот кривой рад той унизительной обстановке, в которой очутился Аким.

Ни единым словом не попытался Аким остановить мужика, ибо сознавал, что мужик только и ждет, как бы от слов перейти к делу: полезть на Акима с кулаками.

С величайшим трудом сдерживая себя, стал Аким будить Семена. Крепко спал Семен, но кое-как добудился. Взглянул Аким на Семена пристально, пока тот зевал, чесался и уяснял себе, кто же собственно поднял его?—лоснится у Семена лицо здоровьем, довольством—и сказал Семену:

— Выйдем на двор на минутку. Поговорить надо.

Ухмыльнулся Семен.

— Не пойду на двор. Говори здесь. Знаю я тебя, папашка: побьешь еще на дворе-то!

— Да за што бить-то буду!—возразил Аким мягко, ласково—вот ты и дурак, Семен. Ни с того ни с сего штоль бить буду.

— Лют ты больно, папашка!—и дурак опять свистнул—не проведешь, мол!

Долго сдерживаемое бешенство Акима прорвалось. Он широко размахнулся и крепко ударил по лицу Семена, крякнув: „к-ха!“, потом злобно сказал:

— А эфто тебе за то—перед отцом не свисти, прохвост!

Здоров был дурак: даже не пошатнулся. И кроток чрезвычайно: могучие руки его, которыми он в минуту мог согнуть Акима в дугу, даже не шевельнулись, хотя бы для того, чтобы оборониться.

Он только мягко, покорно сказал:

— Я же говорю, папашка: лют ты, больно, лют!

Зато худосочный мужик обрадовался случаю. С угрозой, что он сейчас „из башки мироеда сделает лепешку“, кинулся с поднятыми кулаками на Акима, но получил от Акима такой удар ногой в живот, от которого покатился в угол. И валялся там с лицом, искаженным от боли, с глазами, в которых тупо и испуганно застыло: как, мол, это могло случиться?

Не спеша вышел Аким из избы, руки у него ходуном ходили и он долго не мог развязать возжей, захлестнутых простой петлей за кольцо в калитке. Наконец, развязал, сел в сани и так жестоко хлестнул рысака возжами, что тот

прежде, чем тронуться, испуганно заерзал на месте. Мчался Аким по городу и вперед не заглядывал—не думал, как бы кого не задавить. Потом метнулся ему в глаза мануфактурный магазин, круто осадил Аким рысака и вошел в магазин. В магазине было пусто—налицо всего одна покупательница баба лет тридцати пяти—односельчанка Акима. Один приказчик занимался бабой, навалив на прилавок кучу всякого ситца и шерстяных материй, остальные четверо приказчиков, за неимением дела, с усмешкой наблюдали за бабой.

Магазин—считался одним из лучших в городе.

Не любил эту бабу Аким: змея на язык, завистливая, она больше всех распускала по деревне нехороших слухов об Акиме.

И с угрюмой, острой ненавистью он ей заметил:

— Куда залезла-то? ходи по карману, дурья голова. Шла бы на толкучку!

— Знаю, куды лезу. Я наמеднись двести пудов картошки продала по четвертной за пуд.—Это сколько будет, сочти-ка? Не одному, чай, тебе наживаться—бойко, с вызовом отрезала Акиму баба и обратилась к приказчику:—ну, кажи, чаво там у тебя еще.

— Больше ничего. Все уж тебе, тетка, выложил. Остался только шелк, да тот не для твоего носа: для барынь!

— Кажи шелк. Да не скаль зубы-то! По нонешним временам барыни пробарились—повытряхали карманы-то. Денежки-то у нас. А у кого денежки-то—и барыня.

— Правильно, тетка, рассуждаешь,—и приказчик развернул кусок паплина.

Баба, посмотрела, пощупала:

— Вот это для нас добротней. Почем?

— Дорого тетка; четвертной билет за аршин.

— Дорого? Ты у меня в кармане-то считал? Зубаскал! Режь четыре аршина на два фартука!

— Да это, тетка, на фартуки не идет.

— Идет, не идет- не твое дело. Режь четыре аршина.

Все приказчики залились смехом.

— Паплина на фартуки? Ну-ну!

Нисколько не смущаясь, баба заплатила деньги, забрала паплин и гордо вышла из магазина, злобно бросив на прощанье:

— Просмеетесь вот как жрать-то совсем нечего будет, похристарадничаете, у нас, у деревенских!

Мало понимал Аким, что куда идет и для вида только порылся в материях. А взял—шерстяную материю и паплин—помня замечание приказчика, что он идет „на платье“, да паплин дороже—в 40 рублей аршин.

Уплатил, не торгуясь и не морщась, около тысячи.

Потом заехал ненадолго на дровяной склад и в дом, где помещался его ломовой извоз и в обоих местах ругался так—знали служащие, что лют хозяин, но таким видели его все-таки в первый раз.

По дороге в деревню Аким сообразил, что он сделал глупость: как он предложит старухе блестящий паплин, когда она всю жизнь, даже тогда, когда была молода, красива носила убогий, тусклый, выцветший, как старая тряпка после первой стирки, самый дешевенький ситец! И надумал хитрость: хоть и жалко было жертвовать шерстяную материю снохе, но решил ей отдать с тем, чтобы она паплин передала старухе.

Под'ехал к дому Аким, было около четырех дня, чуть смеркалось — и сейчас же, едва Аким остановил лошадь, выскочила из избы не по летам живо старуха и молча, с острым, напряженным ожиданием в расширившихся глазах, уставились на Акима. И от остроты этих глаз Аким забыл и про паплины и про хитрости, связанные с ним—сунул старухе сверток, как часто совал всякие покупки по дому и сказал сквозь зубы:

— Скажи снохе—пусть лошадь уберет. А поговорить—в избу ко мне приходи.

Через три минуты старуха явилась в новый дом со свертком, который положила на стол, совершенно не интересуясь, что в нем, и опять молча, теми же глазами уставилась на Акима. Аким понимал, что старуха, если не догадывается так чует, что дело с возвратом сыновей провалилось, понимал, почему старуха так странно молчит: стоит ей раскрыть рот и сказать хотя бы одно слово—она заплачет.

Аким ходил по комнате и думал, как бы ему поскладнее приступить к разговору. Да никак этого придумать не мог. При мысли, что сыновья его бросили, что, чего доброго, и последний сын Иван придет и не уживется с ним и оста-

нется с ним в доме—в таком богатом доме!—как каторжник, прикованный к тачке, одна только его старуха,—Акима брала жуть и становилась ему старуха дорога необычайно, хотелось ее беречь и щадить изо всех сил.

По настроению и разговорам народа, как в городе, так и в деревне, Аким чувствовал, что почти четырехлетняя война, а потом политические перевороты, затем дороговизна продуктов и товаров,—все это, вместе взятое, произвело такую ломку обычных, так прочно как-будто установившихся всевозможных понятий, навыков, отношений, обычаев, привычек. Аким чувствовал, что в такое время надо быть готовым ко всему, надо ждать не хорошего, а плохого. И Аким уже готовил себя к тому, что в случае, если и с Иваном не удастся ужиться, так принять такой факт спокойно, а не так болезненно, как с Антоном.

Все допускал Аким, ко всему готовился — не допускал только никаких мыслей страшных о старухе. Мысль—а вдруг и старуха уйдет из дому?—никогда не приходила в голову Акиму, а если бы ему кто-нибудь об этом намекнул,—этот намек показался бы ему настолько диким, смешным, что он бы над ним ни на одну минуту не задумался. Что-бы ни случилось—нет Антона, нет Семена, вернется и уйдет, может-быть, из дому Иван, но старуха от Акима не уйдет, не может уйти, как не может уйти, например, от Акима каменная стена его нового дома.

Поплачет старуха, потоскует—и попривыкнет; может-быть, даже не привыкнет, не примирится с отсутствием сыновей до смерти. Это допускал Аким и давал себе слово всеми мерами, всеми возможностями облегчать жизнь старухи.

Подала старуха на стол самовар, закуску и села около стола на краи стула приниженно, как чужая, повсюду гонимая и уставилась на Акима все теми же острыми, напряженными, расширившимися глазами.

Налил Аким стакан чаю и пил его медленно, ожидая, чтобы заговорила первой старуха.

А старуха молчала жутко, точно сможет она просидеть до смерти, но ни одного слова не вымолвит. И когда Аким решил, что не заговорит старуха первая, он раскрыл рот и стал мяться:

— Да, старуха... вот был я севодня у Антона... и у Семена был... обоих, значит, видел... Ну, говорил...: И вот такие дела... С Антоном, значит, прежде потолковал... потом с Семеном...

Знал Аким, что если он так будет мямлить, это старуху не успокоит, и, вздохнув, набрался решимости и твердо заявил:

— Да, говорил, да только ничего не вышло. С таким, как Антон, не сговоришься. Он чего удумал: в Сибирь, говорит, в тайгу поеду жить! Ну, конечно, и этот дурак Семка с ним.

Глаза у старухи сузились и сейчас же на них появились скупые слезы.

— Ну, вот сейчас же и за слезы. Эх, глупая,—поморщился Аким и продолжал так мягко, любовно, горячо убедительно; никогда так со старухой в жизни не говорил.— Ах, как я его уговаривал, как просил, што я ему обещал, ежели, мол, он вернется. Хозяином я его над собой ставил, што, мол, он хочет, то и делает, а я прекословить не буду ни в чем. А он што захотел? Собирается он в эфту Сибирь проклятую, в эфту тайгу с разным народом. Наберу, говорит, десятка четыре разных людей и поедем в эфту тайгу новую жисть налаживать. Отдай говорит он, отец, нам все свои деньги, мы купим на них этим бродягам одежду, обужу, ну, там косы, плуги, струменты всякие—и поедем с ними в тайгу. Да за што же, мол, я отдам-то все свои капиталы, каким-то голякам?—Да ни за што, говорит Антон, за одно спасибо! И должен я в тайге наравне с этими бродягами работать, жить с ними так, как они живут—бедствовать, значит. Вот ты и подумай, мать! Мысленно это? Я весь свой век хрип гнул, ночей не спал — работал, деньгу сбивал и вдруг за одно спасибо на каких-то бродяг убей свой весь капитал, да еще на старости лет гни спину над землей. Мысленно это? Надо из ума совсем выжить, штобы на такое пойти. Ну я конечно, и не пошел. А Антон... да ежели бы он вернулся домой, да я бы на него, мать, как на икону молился! Поверь мать, не кривлю душой. Но нет, не хочет. Не ребенок— ему дороги не закажешь.

Замолк Аким. Подождал, не скажет ли чего старуха. Нет,

молчит. Только скупые слезы говорят, что велико горе матери—текут, текут и, когда остановятся—конца не видно.

И вновь заговорил Аким уже лихорадочно, возбужденно, как в бреду.

— Послушай, мать... Я, вот помню, когда Антон всподкинул нас, ты говорила: „позор какой от людей"... Какой позор? За што? Ведь людей я не убивал, рук в крови не пачкал... Сын ушел? Но мало ль сыновей от отцов уходит, и ничего... молчат подлые язычишки. Я знаю, мать, хорошо знаю, кто и што в народишке про меня языком треплет... У-у, трепачи мне эти подлые, паскудные! А кто из эфтих трепачей понимает, што каков есть наш сын Антон, какую он линию в жисти ведет? Я вот понимаю и говорю: если бы Антон домой вернулся, я бы на него, как на икону молился. А они поймут! Да ежели бы этим трепачам, сволочи всей эфтой безмозглой вдалбливать бы в башку, што такой есть наш Антон, так разя они поймут,—ни в жисть! Ни за што! Ежели им говорить, што Антону они в подметки не годятся—они поверят? Никогда! Разя мы не знаем, што всякий дурак считает себя умнее умного, всякий жулик, сквалыжник—што есть много в народишке еще хуже его. Жисть, мать, ведь мы не зря прожили. Слава Богу: глаза есть—видели, уши есть—слышали, мозги есть—мозгами насчет народишка пошевеливали! Знаем, што поп у нас хорош, да и приход не лучше. Нет позора нам, мать, от людей никакаго. Есть у нас, мать, горе—только наше с тобой горе, и никто нам в нем с тобой не поможет. Сами мы себе в своем горе должны помочь. А што народишко языком будет трепать — наплюем на эфто. Будем помалкивать да знать: ежели умный человек сам в грязи сидит—он из грязи пальцем ни на кого не укажет, потому што понимает, што сам замаран. Ну, а ежели, прости Господи, грязь какая-то там придорожная сама в грязи по горло барахтается да еще оттуда грязью на других брызжет—плевать на это только. Почему будут говорить, трепачи там и трепачихи всякие — Антона и Семена им жалко што ли? Фью! Как же не так. Не в эфтом дело, не в Антоне и Семене, а в том, што больше всех я сумел нажить, што богаче всех.

Зависть, мать, зависть проклятая будет говорить, а не жалость к Антону и Семену. Погоди, мать...

Аким подошел к шкапу, вынул бутылку коньяку и графин самогонки, поставил на стол, налил коньяку было рюмку, но, видимо, показалось мало — налил полстакана и этого должно быть показалось недостаточно: дополнил стакан до краев и выпил его одним махом. Передохнул и, закусывая, опять заговорил:

— Зависть, мать, зависть—все она проклятая. Вот примерно, на столе коньяк три звездочки и самогонка; и ежели бы кто увидел, што я сейчас выпил не самогонку—што-бы он стал языком трепать? Он стал бы трепать—вот, мол, Аким-то, богатей-то на самогонку смотреть не хочет—коньяк жрет. А дай любому каждому из эфтих трепачей: што он хочет—коньяку или самогонки!—так он на самогонку и смотреть не захочет! Все тянутся к деньгам, всем хочется для себя побольше кусок ухватить. Ну и хватают, кто што может и, как умеет. Только ленивые и безмозглые плохо живут, глазами моргают моргачи несчастные, а туда же—честными и себя величают. Знаем мы мы этих честных! Работать не охочи по доброй воле, а это не честь, ежели из-под палки, когда жрать нечего спину гнуть; сметки в башке нет, штоб кусок для себя, где можно, ухватить — вот и живут голяками, щелкают по-волчьи зубами на тех, кто капиталец себе приобрел. А дай-ка этим честным волю на чужое добро, почуй они, што можно, примерно, меня, Акима Петрова, до последней нитки ограбить и ничего им за эфто не будет—они покажут, эфти моргачи, свою „честность". Скорехонько останешься в чем мать родила, ежели своих зубов не покажешь. Только теперича, мы, богатеи, своими зубами и держимся: ни стражника тебе от грабителей, ни станового, ни урядника. Вот и живем пока што, мы, все богатеи, головой работаем, штоб не раздели. Вижу, мать, я свою всю жисть, как на ладони. Встречал всяких людей: и бар и мужиков, и умных и глупых, и лодырей и охочих к работе, а вот таких, кто на деньги не падок—мало встречал! Кто позубастей—хапает больше, а кто глуп да труслив, как овца, тот ничего не возьмет, где што плохо лежит—побоится, а потом в душе жалеет, што не взял, дураком себя в душе обзывает, а на людях честностью своей величается: потому, мол, и беден, што честен.

А честных-то по-настоящему, по-Божески — днем с огнем поищи и не найдешь. А ежели найдешь—Семка вон наш по слабоумию, Антона глупым не назовешь—умен, ух, как умен-даже я иногда не пойму, што и чему он речь ведет, куда гнет дугу, — так вот я и говорю тебе, мать, што чту его за эфто, как икону. Он первый меня заставил мозгами пошевелить и понимаю я теперича, што жисть людская не ладно устроена: денежки нас всех давят, а зависть наша нечистая нас подстегивает—вот и мчимся на этих Ваняшках, а куда примчимся — один Бог ведает. Вот мне читарь-то мой газетку читает, а я слушаю, што на свете делается и думаю: может все—и бедняки и богатые в такую яму попадем и так там лбами друг с дружкой посшибаемся, што не скоро очухаемся и из ямы эфтой выберемся! А хранцуз там, или немец придет и крышкой нас еще в эфтой яме прихлопнет: сидите, мол, там дурачки, деритесь, а мы на вашей сторонке для своего кармана поработаем... Слышишь, мать, што говорю-то? Вникаешь?

Старуха, действительно, Акима слушала и особенно жадно в тех местах, где речь Акима возвращалась к Антону. Исчезли с глаз скупые слезы: заворожил ее Аким „иконой". И светились глаза старухи каким-то новым печально-торжественным светом.

Понял, что слушает его старуха, и Аким. Он подсел к ней почти вплотную в такой позе, точно всю жизнь старуху берег и лелеял, любил, протянул руку за свертком и, развертывая его, заговорил уже менее возбужденно, но более мягко, ласково:

—Ну, вот-мать, ты уже не плачешь... хорошо! Я рад. Может, все перемелется и мука будет. Все грехи свои, мать, теперича перед тобой знаю и лютовать уже больше над тобой не буду: крышка старому! По-новому век свой будешь доживать—по-тихому, по-хорошему. А люди... вот тебе к примеру... Марфуха то Кособокова, язвительница-то первая в деревне, ненавистница-то нашему дому самая лютая, моргочиха несчастная, которая без-умолку скулила „потому, мол, и бедны с мужем, што честны..." не как, мол, Акимка Чужбинник! „Честны!" А вот теперича Марфуха сама по деревне пустила, что быдто пишет ей муж, штоб ждала его с большими деньгами, што никто его в солдатах не задерживает:

сам прилип к какому-то делу и отстать не может—завидно, мол, другим оставить поживу, лучше, уж, мол, сам до конца поживлюсь. Грабит, значит, сукин сын без оглядки, отстать не может—а какой горлопан был против богатых до солдатчины? Самый первый! Эфто он, а вот она, Марфуха: захожу в магазин, а она вот эфтот паплин по четвертной за аршин на фартуки покупает. Прикащики за животики от смеха схватились: это мол, на фартуки не идет—шелк, мол,—только на платья барыням. Ну, а ей што—деревенщина, серота темная: нам, мол, барыни не указ: барыни на платья, а мы на фартуках сносим—режь четыре аршина. Каково? Сто рублей бросить на фартуки. Эфто значит честная беднота так разгуливается! Вникаешь, мать? Ты, жена богатея, не покупала такие фартуки? А работала как — меньше Марфухи? У тебя от работы и заботы кожа и кости, а у ей от работы и заботы што? Да такую толстомясую пестом не прошибешь. Много, значит, работала и заботилась, ежели от жира и вдоль и поперек так пухнет! Вот она, беднота-то, как показывает свои зубки. Ежели вся беднота так проснется, так пожалуй, зубки ее будут пожоще и поострее, чем у нас, богатеев. Мы так скоро не гуляли: хрип, как лошади, гнули, над каждой копейкой тряслись—блюли в прок, рвань носили, а они вон как развертываются: сто рублей на фартуки!

Помолчал Аким и смущенно—скорее пробормотал, чем сказал:

—Ну, а эфто, мать, я тебе в подарок на платье. Следует.., Не то еще заслужила. Около тыщи бахнул — и ни капельки не пожалел...

Посмотрела старуха равнодушно на шерстяную материю, равнодушно провела сухой рукой по блестящему шелку и, положив опять на стол подарок, скупо выронила:

— Да к лицу ли мне на старости лет такое?

— Да, да,—заспешил Аким—и я так думал. Да ведь время теперича какое: ежели Марфухи могут себе на фартуки, так неужто мы не можем на платья? Да и вообче, мать, не будем стесняться, сквалыжничать, жадностью своей нечистого тешить. Погрешил я так и немало, а теперича довольно. Выпьем, мать. Ничего—Бог простит. Вот и я... Все Антон... Ух, какие задачи мне задает: про мертвых из писания.

Старуха не отказывалась. Молча, медленно, с передышками

вытянула коньяк. Быстро захмелел после второго стакана Аким. Побормотал немного совсем несвязно о том, что мало его кто понимает, что будь весь народ честнее, не был бы он таким, каким был—побормотал и заснул, не раздеваясь, на диване.

Убрала старуха со стола самовар и всю посуду и остановилась перед Акимом.

И долго, долго смотрела на его лицо, как-будто не в силах оторваться, и у самой лицо было незлобивое, светлое, точно ничего худого от Акима во всю свою жизнь не видела. Наконец, оторвалась: перекрестила трижды Акима, поцеловала в лоб, отошла, посмотрела—потрогала рукой паплин и шерстяную материю и махнула рукой: не надо, мол.

Еще раз взглянула на Акима, мотнула головой и на глазах блеснули скупые слезы, загасила свет и ушла в старую избу.

ГЛАВА XIV.

На другой день Аким уехал в город принимать с железной дороги огромную партию дров: чуть не на сто тысяч. Весь свой склад загрузил ими. Пять дней вывозил со станции эти дрова и все эти пять дней дома не был.

Покончив с дровами, Аким помчался в деревню, уже совсем не думая о дровах: пять дней не видал старуху и соскучился о ней.

Гнал рысака и думал, что надо уговорить старуху, чтобы она переселилась из старой избы к нему.

Подъехал Аким к дому и увидел — выглянула из окна старой избы сноха и лицо у ней перекосилось от испуга, — выглянула и исчезла.

„Нет, что-то неладно!“ — пронеслось в голове у Акима и опять „екнуло“ сердце — еще тревожнее, безпокойнее и больнее.

Подождал Аким минуты две — выйдет сноха по заведенному порядку принять лошадь. Сноха не выходила. Не хотелось Акиму итти ругаться, решил он убрать лошадь сам. Убрал, прошел в дом и с час терпеливо прождал, что вот-вот сейчас явится старуха.

И не выдержал Аким — хотел-было итти разыскивать старуху, но помешала сноха. Испуганно и нерешительно

она вошла к Акиму и мялась около двери в комнату, не зная, как ей начать разговор.

— Чего мнешься, как старая лошадь? Где мать? — хмуро спросил ее Аким.

— Мать? — и лицо у снохи стало еще испуганнее — а я не знаю. Известно игде: игде-нибудь ходит по обнакновению...

— „Игде“, „по обнакновению“ — с усмешкой повторил Аким: — А надо бы, голубушка, знать, „игде“ мать? Эфто я и без тебя знаю што где-нибудь она ходит. Она ходит на старости лет, а ты по младости „по обнаковению“ все сидишь и не антерисуешься совсем — игде она ходит. Не дело, голубушка! Иди-ка вот поживее разыщи.

Сноха замялась еще более.

— Да што мнешься-то! — уже нетерпеливо крикнул Аким — слышала, што сказал?

— Слышала, батюшка-свекор. Да только у меня до тебе, батюшка-свекор, дело...— и лицо снохи из нерешительного и испуганного стало упрямым и злым.

— Так говори, коли дело. Чаво тянешь душу?

— И скажу, батюшка-свекор. Ежели милость ваша будет — вспомоществование бы мне. Одежа, обужа чаво стоют... да и хлеб тоже — кусается... Трудно жить, батюшка-свекор!

— По твоим бокам видно, как тебе трудно жить. А на счет хлеба — вот дура: ты покупаешь што ли хлеб, не вволю ешь? И одежа и обужа тоже... Язык-то у тебя отвалится сказать — што тебе надо, чаво у тебя нету? Вот пень-то, прости Господи! Иди-ка лучше розыскивать мать...

— Пойду!.. Только, батюшка-свекор, дай мне вспомоществование... Без вспомоществования я никак не могу.

— Да ты, чортова затычка, долго будешь мне голову морочить! — и Аким топнул ногой: вот морока, вот морока: наладила о вспомоществовании — о каком таком, за што? Иди мать ищи!

— Я и пойду. А мать... а где я ее, буду искать? Ищи ветра в поле...

— Какого ветра в поле? Чаво плетешь — вот плетушка безмозглая. Прямо терпенья никаково нет!

— А вот и не плетушка! А игде я тебе, батюшка-свекор, мать достану, ежели она два дня тому назад ушла... К сыну Антону значит ушла и наказ мне такой дала: батюшке-свекору, говорит, скажи, што ушла я и не вернусь. Вот беда-то: увсе ушли, как есть увсе — только одна моя бедная головушка осталась!

Как и всегда, в минуты сильного волнения, Аким быстро заходил из угла в угол по комнате с опущенной головой. То, что и старуха ушла к Антону, пришибло и изумило его так, что он отупел и никак не мог себе представить, как она могла уйти и почему ей понадобилось уйти. Он отупел до того, что если бы случилось нечто противоестественное,— если бы у стен его нового каменного дома вдруг выросли курьи ножки и на этих ножках тяжелые стены пошли бы в разные стороны,—Аким был бы меньше таким явлением изумлен, чем уходом старухи.

Ничего не помнил Аким из своих поступков по отношению к старухе, ничего не соображал из того, каким ядом отравил старуху, говоря ей про сына, как про „икону",— все ему представилось, отупевшему и пришибленному, вдруг проще: представилось, что и уход Антона, и уход старухи есть какое-то тяготеющее над ним проклятье. И диким, страшно жутким показалось ему жить с одной снохой: все ушли — Антон, его жена, ловкая на работу и хорошая по нраву баба, детишки Антона, наконец, сама старуха, ушли все те, кого Аким в сущности любил (теперь он понял, что любил), и осталась только та, которую он не любил и терпел в доме только по необходимости — жена Ивана.

И горько, так горько стало Акиму — казалось ему, что сходит он от этой горечи с ума.

И не слышал Аким, как сноха, потерявшая терпение ждать, уже несколько раз окликала его:

— Батюшка-свекор!

И раз от разу все в более повышенном и злобном тоне. Наконец, услышал Аким, поднял голову: где и как стояла сноха, так и стоит и в той же позе. Действительно, как пень.

— Да ты все здесь торчишь? Иди, иди — опосля поговорим.

— А и где мне торчать? Да куды я пойду?

— Хорошо, што ты еще, сношенька, понимаешь, што тебе некуда итти и, што ты здесь должна торчать,—сказал Аким и горько усмехнулся. Потом взгляд его упал на паплин, взял его Аким и передавая снохе все с той же горькой усмешкой добавил:—Тыщу стоит. А теперича иди, Бога ради. Оставь меня одного. Што нужно поговорить — все опосля обсудим.

— Да неужто тыщу? — ахнула баба и жадно впилась глазами в блестящий шелк, жадно проводила по нему мясистой рукой, наслаждаясь шелестом материи.

Аким уже не мог думать в присутствии снохи и, сморщившись как от внезапной, сильной зубной боли, раздраженно крикнул:

— Да когда ж ты, наконец, уйдешь то?

Сноха крепко и жадно спрятала материю под мышкой и, вновь с лицом злым, возразила:

— А куда я пойду?

— Куда, куда? Вот, ворона глупая: в избу. Забыла штоль, где живешь.

— В избу? Увсе оттеда ушли, а я — в избу. Не пойду в избу! Я, батюшка-свекор, к родителям пойду. Потому мне никак нельзя... зазорно! Вон по деревне што все бают. Снохач, говорят, он, Аким Чужбинник то... Потому, говорят, и из дома увсех разогнал, штоб ему слободно было со снохой жить... Вон што бают... зазорно! Вот я и уйду к родителям, покамест мой солдат не придет. А што у родителей? Одежу, обужу мне надо, хлеб тоже — кусается... Вот я, батюшка-свекор, ежели милость ваша будет, и прошу вспомоществование... Без вспомоществования никак мне, бедной солдатке, нельзя...

— А ежели я никакого вспомоществования не дам, тогда как — тоже уйдешь? — спросил Аким странно притихшим голосом.

— Обнакновенно уйду. Увсе ушли, а я што — пахабная какая — останусь? К родителям уйду.

Затрясся весь Аким, выхватил у снохи материю, швырнул ее себе под ноги и бешено крикнул на сноху:

— И уходи, уходи! А не то, — убью, стерва безмозглая! Значит, снохач я... Говорят, говорят... Кто говорит? Бабы — суки какие-нибудь... А ты мне такие слова... Убью, стерва

Выкатилась баба белее снега от испуга из дому и побежала куда то мимо окон. И уже совсем непереносимой показалась Акиму мысль, что даже такая тупая и противная баба бежит из его дома и остается он один.

Мутным взглядом обвел Аким обстановку дома — мягкие кресла, диваны, стулья — барскую, дорогую обстановку и „екнуло“ сердце у него раз — больно, „екнуло“ в другой — так больно, что Аким невольно схватился за левый бок и, наконец, не екнуло, а ударилось сердце в грудную клетку так, словно хотело из груди выскочить и грохнулся Аким от этого удара на пол.

Истек час, наступил другой, весеннее солнце весело заглядывало в окна каменного дома, а богатей все валялся на полу со страшно побагровевшим, раздувшимся от прилива крови, лицом и время от времени его правая рука с глухим стоном безпомощно и нелепо, как будто слепая, падала на левую сторону груди.

Некому было притти на помощь к богатею из домашних, никто, на несчастье богатея, не зашел из посторонних.

ГЛАВА XV.

Все таки встал Аким: на другой же день был на ногах. И уже знал, что если допустить пошалить сердце так еще раз, два—и тогда конец.

Таких „шалостей“ он решил не допускать и поставил себя так твердо,—как-будто уже не человек, а камень.

Так мрачно, жестоко, угрюмо стало его лицо. И такой лихорадочной, как-будто уже неотступной ненавистью, почти всегда горели его глаза, что вскоре бабы начали запугивать своих чем-либо провинившихся детишек Акимом.

— А вот сбалуй, созорничай еще - отдам Акимке Чужбиннику!

И так испуганные дети зарекались баловать, точно Аким не свой мужик, на которого еще не так давно дети глазели с любопытством и, памятуя слова взрослых, с восхищением повторяли: „Одева-то на ем, обува-то,—как купец, ей Богу, как купец-“—не свой знакомый мужик, а грозный и страшный Змей-Горыныч“.

Первым делом, когда Аким встал, решил он не оставлять

дома без бабьего глаза. Пошел к старухе Зиновии и кратко, угрюмо предложил:

— Ежели хочешь ко мне в дом за порядком блюсти—так сичас же сбирай все свои пожитки, заколачивай избу и иди ко мне. Жить будешь у меня в старой избе, насчет всего прочего в обиде тоже не останешься. Знаешь меня?

— Еще бы не знать... Благодетель!—и льстиво и с чувством собственного достоинства сказала Зиновия.—Севодня переселюсь, Аким Петрович! И думать тут да гадать нечего!

— Вот и хорошо. Хотел я жить с народом, ну и с домашними со всеми, по-хорошему—не вышло. Так и наплевать! Поведу теперича другую линию... Без эфтого не умру—буду милиёнщиком...—жестоко и угрожающе вымолвил Аким и, взглянув на Зиновию, даже мягко, удовлетворенно добавил.— Што и за баба ты! Не люблю баб за безмозглость, ну, а ты - смотрю на тебя и вижу, тебе только чуть свисни, а ты уж смыслишь! Прямо даже обидно, што бабой родилась.

Усмехнулась Зиновия так тонко и молодо—было ей на шестой десяток, а казалось, что не более сорока лет и лет еще опасных.

Акиму это не понравилось—он не почитал такое поведение,—и хмуро перевел разговор на другое:

— Только вот што: как ко мне вселишься, так в моем доме ту...

— Торговлишку—самогонкой...—живо подсказала Зиновия—ну, конешно понимаю ведь, не маленькая: неудобно! Уж и так вела осторожно, а теперь так поведу — ни тени на твоем доме не будет, ни пятнышка...

Аким даже отступил от удивления...

— Вот чорт-то? Да што ты у меня ночуешь што ли в голове-то?

Они переглянулись, поняли друг друга и разошлись.

Вселилась Зиновия в дом Акима и превзошла все его ожидания: взяла из соседних деревень двух вдов-солдаток в работницы и такой порядок и чистоту в доме, в избе и по двору навела, что Аким только плечами пожимал. Не только ничего подобного при старухе и снохах никогда не было, но даже Аким, когда думал, что если бы он взялся

за такое дело, сознавал, что такого порядка и чистоты ему не навести бы.

А кроме дома и двора досматривала Зиновия за мельницами и кузницей, да так досматривала, что работники на мельницах и кузнец, хотя и возненавидели ее, но скоро смирились: как ни хитри, как ни изворачивайся—все равно Зиновию не проведешь и ниодной копейкой не поживишься. Аким со своей стороны тоже нажимал. В городе поднял цену на дрова чуть не вдвое, в деревне—на мельницах и в кузнице ввел порядок, чтобы за работу платили не деньгами, а зерном и мукой.

На мельницах за помол с пятипудового мешка—полпуда муки, в кузнице не только за подкову или за то, чтобы топор наварить, сошник поправить, а за мелочь—за зуб к бороне, за пробой к двери, за кольцо к замку, за ручку к ведру—на все была определена плата зерном: за мелочи фунт, два, три, пять, а покрупней работа—полпуда зерна, а то пуд отдай.

Посчитали мужики—очень дорого услуги мельницы и кузницы стали обходиться. Продавали муку в городе, а также и на месте мешечникам по 40—50 руб. пуд—решили продавать по 60—70 р. за пуд. На картошку тоже накинули „малость". Раз с них богатей Аким так дерет—как же им быть? Поневоле надо „накидывать".

Но, накинув, мужики не успокоились, а особенно бабы—и на деревне опять сильно заговорили об Акиме, что надоело, мол, волку носить овечью шкуру, что, видно, зол Аким, что из дому вся семья разбежалась, вот и вымещает свою злобу на народе.

Да недолго так поговорили. Аким с народом по деревне избегал соприкасаться. Соприкасалась Зиновия; она назначала, сколько зерна и муки нужно получить по повелению Акима, она принимала это зерно и муку и приэтом скоро так обработала мужиков и баб, что замолк этот враждебный говор против Акима.

Поднялся говор иной, который особенно поддерживали бабы. Выходило так. Был Аким к народу добр и милостив,—и на мельницах, и в кузнице льгота,—а кто оценил это? У него в доме несчастье за несчастьем, а кто эти несчастья понял, кто ему посочувствовал? Только все позлорадствовали.

Вот за это Аким и отнял льготы. И незатем отнял, чтобы в свой карман класть—не об этом думает Аким. К чему деньги, когда их у него и без того много, а к тому же—для кого наколачивать Акиму деньгу, когда вся семья из дому разошлась. Нет, не о деньге думает Аким, а о другом: о спасении души своей! Не даром ведь такой мрачный ходит и с народом говорить не хочет.

И сделал этот говор то: устыдилась темная деревня за свои злые чувства к Акиму и стала посматривать на него смущенными, виноватыми глазами. Видели мужики и бабы, как с мельниц еще больше, чем раньше, отправлялись Акимом воза с мукой в город и, хотя войны уже не было, кончена война, но оказывается Аким не забывает воинов и после войны.

Ходил слух, что отправляет эту муку Аким по божеской цене в приют для детей-сирот воинов и в приют для увечных воинов. А чаще—без всякой цены: просто жертвует несчастным!

А потом нашлись две бабы, которые клялись и божились, что погрешили против Акима: побывали в городе в этих приютах и убедились—„ублаготворяет приюты Аким Петрович"!

И когда мужики и бабы видели эти воза с мукой—то уже не сердились, что берут с них на мельнице за помол и в кузнице за работу зерном и мукой, а морщились, а иногда и проговаривались.

— Известно!.. Да всякий бы так на месте Акима Петровича сделал. Нам, свиньям, ублаготворяли, а мы—языки чесали.

— То бы мучка то у нас лежала, а теперь вот в приют едет. И правильно! Ведь мы то бы, свиньи, не дали.

И выростал Аким опять в силу. Вновь забылась кличка „Чужбинник", которую было все чаще и чаще стали связывать с именем Акима: опять его все звали не иначе, как Аким Петрович. Даже „молодчики", солдаты-большаки, понимавшие, что если что можно сделать в деревне, так в первую голову для этого надо свалить влияние Акима,—даже они прикусили против Акима языки, поверив всему, что толки приписывали Акиму.

Выростала и Зиновия. Бабы из кожи лезли за нее: никто не пошел к Акиму „образить“ его дом, все только злорадствовали тому, что его постигло несчастье, а вот Зиновия пошла,—и пошла безкорыстно только за хлеб и угол. А ведь хлеб и угол у ней было беззабот и хлопот, а у Акима за этот хлеб и угол,—сколько забот и хлопот?!

И мельники и кузнец расказывая, как вконец Зиновия перехитрила их, одобрительно заключили:

— Уж и глаз у ней: от такого глаза соринки не утянешь. Конешно, плохо, што на табачишко утянуть нельзя, ну, а если правильно мозгом раскидывать—тогда как получается? Ведь дай Бог каждому хозяину такое золото!

—У-ух, и старуха! Ты на нее в сердцах крепким словечком, а она тебя, как плеткой ожжет, умной речью. Сразу совестью убьет: брань забудешь, и слушаешь ее. Хоть бы раз рассердилась — все добром, все толком, с основанием таким—не баба, а прямо министр!

„Министром Зиновию почти вся деревня считала, за исключением нескольких лиц—два три солдата из фронтовиков, три, четыре старика,—которым Зиновия казалась подозрительной по одному тому, что слишком умна и ловка.

Да еще „министром“ не признавал Зиновию Аким, которому точно завидно было, что Зиновия пользуется такой славой. Раза два он Зиновии ехидно проговаривался:

— „Мянистр“ чорт те што про тебя плетут. Слов нет— хитра ты, ловка, ну, а до мянистра-то, пожалуй еще ой как далеко. Глуп народишко, вот и треплет языком; и што треплет и сам не знает.

Но и тут победила Акима Зиновия.

В воскресенье на предпоследней неделе Великого поста поп особенно торжественно служил обедню. Был на этой обедне и Аким. Редко он ходил в церковь и на этот раз итти не хотел, да уговорила Зиновия, что итти ему надо непременно, а почему „непременно“—таинственно пообещала:

—А там сам увидишь!

Отслужил поп обедню—довольна была деревня: давно поп так хорошо не служил. И еще довольнее стали, когда поп заявил, что хочет речь держать: и речи иногда поп умел хорошо говорить.

Насторожились крестьяне. Заявил поп не менее торжественно, чем служил обедню:

— Православные христиане, есть среди вас человек невинно опороченный! Вот мы о нем и побеседуем.

И около часа длилась „беседа“. Вдохновенно говорил поп, уснащая свою речь цитатами из Евангелия и Библии, о том, как снизошла Божья благодать на дом одного человека. Был у этого человека дом богатый—всего вдоволь, Бог достатком за труды этого человека не обидел, всего в доме полная чаша, а вот пришел у этого человека сын с войны и не пожелал жить в богатом доме, а ушел в бедность, в тяжелый, грязный труд. А вслед за сыном ушла в эту бедность и мать-старуха. И собирает теперь в городе этот сын богача благочестивых людей, а когда соберет, сколько нужно, тронется в сибирскую тайгу святой скит устраивать. А как же народ это понял? Никто из народа не видел, чтобы богач гнал сына из дома, никто не видел, чтобы он и старуху гнал; никто не понял, что снизошла на дом богача Божья благодать, а поняли по неразумению своему, что послал Бог за грехи богача на его дом несчастье. Не понял народ, что несчастье Бог посылает на грешников в виде пожара, разорения, мора скотины и людей, а это не несчастье, когда людей от богатой жизни никто не гонит, а сами они добровольно идут. А много-ли людей найдутся, которые от богатства так легко отрываются? Не подумал народ, что если бы сын и жена старуха богача ушли от лютостей богача, так требовали бы они себе как требуют в таких случаях все, имущества и денег, но никто из народа не слышал, чтобы сын и мать требовали себе денег и имущества. Не понял народ, что озарил дом богача дух святой, которому не нужно ни злата, ни серебра—не понял и начал по зависти и злобе своей невинно порочить человека.

А закончил поп призывом:

—Православные христиане, грех большой на душу берете. Говорю вам это, как пастырь духовный. Молчит на вашу хулу опороченный вами невинно человек, терпит. Кто может из вас сказать, кому этот невинно опороченный человек, хоть раз, хоть единым словом пожаловался, что понапрасну хулу терпит? И не только терпит, а есть слух, что как только его сын с людьми благочестивыми устроит в тай-

ге Сибирской скит святой — уйдет туда за сыном и женой этот опороченный человек. Покайтесь же перед ним, православные христиане, пока не поздно. Говорю вам, как пастырь духовный ваш!

Понял Аким, с чего поп выдумал „беседу“.. С неделю тому назад рассказал Аким Зиновии все свои переговоры с Антоном, а Зиновия стакалась с попом.

Понял, что „обеление“ хитро придумано и стоял, как и подобает „невинно опороченному“ в течение всей „беседы“ скромно, с опущенной головой.

Бабы от этой „беседы“ даже в слезы ударились. Зиновия тоже насчет слез не сплоховала, а мужики после „беседы“ полезли смущенно к Акиму просить прощения за то, что „зло против него помыслили“.

А Аким кланялся и скромно, великодушно говорил:

—Ни на кого, православные, не сержусь. Ошибка со всеми может быть. Одного от вас, православные, желаю: жить со всеми вами в мире и согласии!

А в заключение пожертвовал Аким всенародно на колокол две тысячи рублей, да попу „за труды“ потихоньку сунул три сотни.

А домой пришел—поцеловал Зиновию и признался:

—Ну, теперича, вот и я скажу тебе: действительно, в министрах бы тебе только и быть!

Потом достал из сундука паплин и шерстяную материю и передал Зиновии:

— В подарок, значит, от меня. Носи на здоровье. Истинно заслужила!

ГЛАВА XVI.

Скоро обошелся Аким; все чаще и чаще ему даже непонятным становилось—почему он так глубоко мучился и волновался по поводу ухода из дома Антона и своей старухи.

Припоминал все свои шаги и намерения, чтобы предотвратить уход сына и жены и, казалось Акиму, что готов он был поступиться, чтобы задержать при себе сына и жену, во много крат больше, чем следовало бы поступиться, — теперь совесть его должна быть спокойна.

Обелив себя таким образом, Аким, как хищник, совершенно упустил из виду, что кое-что из урока, данного ему сыном и женой он все-таки должен запомнить, что грехов за ним много в прошлом и не следует их множить.

Как хищник, он забыл об этом и помнил только, что, когда обрушилось на него несчастье, все над этим несчастьем позлорадствовали и злорадствовали бы теперь, если бы не помогли Зиновия с попом.

И ненавидел Аким народ уже непримиримо-люто. И помнил только одно, что жить с народом по доброму никак нельзя: можно только жить обманом и хитростью.

А в этом Аким чувствовал себя сильнее, чем когда-либо: когда он соображал, что у него такая помощница, как Зиновия, казалось ему, что нет людей, которые могли бы их победить. И день ото дня относился Аким к Зиновии все нежней.

Нечего ему было уже делать в деревне: за всем следила, всем управляла Зиновия так гладко — кажется, что дай ей кроме мельниц, кузницы, хозяйства по дому еще десяток разнообразных предприятий—и тогда Зиновия со всем справится.

Акиму оставались только дровяной склад и ломовой извоз, но там дело было уже так налажено, что идет само собой. И толкался Аким в городе ежедневно единственно затем, чтобы наметить и зачать какое-нибудь дело, которое по размаху было бы только подстать „первогильдейским“ купцам. Дел таких намечалось не мало, но к осуществлению их приступать было нельзя: домов покупать нельзя, землю—нельзя, фабрику какую-нибудь создавать или торговлю чем-либо в широких размерах, тоже опасно: вдруг большевики и это отнимут!

И ограничивался Аким только тем, что „намечал“ дела — разные: за некоторые взялся бы один, за некоторые—в компании.

А приезжая к вечеру домой, Аким за самоваром передавал Зиновии все слышанное и виденное в городе за день и неизменно заканчивал одним:

— Скоро погибнут, окаянные! Чуть-чуть дышут... А пока, што, мы, коммерческие (Аким уже себя иначе не называл), готовимся: планы разрабатываем всяческие. Ух, и затрещит же

торговлишка потом всякая и работишка: капиталов у всех свободных уйма!

А потом... слушал Аким уже Зиновию. Кажется конца никогда не будет тому, что она слышала и видела за десятки лет своего бродяжничанья по городам, монастырям, селам, местечкам и большим дорогам.

Слушал ее Аким жадно—уж очень умна и речиста. И смотрел на нее жадно: на шестой десяток—а только по летам можно назвать старухой; если по внешнему виду—не угнаться за Зиновией и иным молодым. Волосы длинные, густые, черные, как вороново крыло—изредка блестят красивые серебряные волоски. Фигура—прямая, умеренно полная, только грудь слишком высока и жирна.

А глаза—темные, глубокие, лицом светла и приветлива, а в глазах никогда не меркнущие мрачные, распаленные огоньки: боялся заглядывать в эти глаза Аким и думал: „Ведьма... Настоящая ведьма!" И когда рассказывала Зиновия Акиму о чем-нибудь божественном: о мощах, иконах, монастырях, старцах, о толпах людей, доведенных до религиозного ослепления и исступления,—Аким слушал и видел, что, когда Зиновия говорит о божественном, она более грешна, чем в иное время: жарко становилось.

Раз он не выдержал. Ткнул пальцем в высокие груди Зиновии и, отвернувшись, грубо, зло, ревниво бросил:

— Знаю я, что трепалась ты там по эфтим монастырям да большим дорогам со всякими прохвостами без конца, верно, без счета. А вот поди, как соблюлась! Чорт те што прямо...

Зиновия как-будто нисколько не оскорбилась на тяжелый намек—даже не отрицала:

— Детей не родила — кровями не исходила, на черной работе тоже спины не гнула — вот и соблюлась, — сказала она скромно, тихо, но так подалась к Акиму, так раздулись груди, что Аким, обороняясь, протянул руку, вперед и, сказал угрюмо, с ненавистью:

— И ведьма ты, настоящая ведьма! Сметка в тебе, расторопность, оборотливость — лучше и не надо; ну, а вот эта пакость в тебе—не люблю... Никогда я этим в жисти не занимался. А теперича, на старости лет, и вовсе не след мне

эфтим заниматься. И тебе тоже советую: пожила, поблудила не мало—и довольно!

Аким, действительно, не думал связываться с Зиновией, но, сказав это, он яснее, чем когда-либо, почувствовал, что объедет его Зиновия пожалуй и в этом...

ГЛАВА XVII.

Прошла Пасха. В конце Фоминой недели, за вечерним чаем рассказывала Зиновия, как она была сегодня днем свидетельницей большого собрания мужиков.

Обсуждало это собрание довольно странный вопрос. По деревне в большом ходу шла самогонка. Гнали ее с десяток мужиков на собственных „плепаратах".

От этого вина, когда его выпивали около бутылки, дня по три потом валялись с отчаянной головной болью и общей, тяжелой, разбитостью во всем теле, даже здоровые мужики; кроме этого, оно обладало еще свойством наподобие китайской водки: вызывало на другой день и на третий сильную жажду, а когда жажду утоляли водой—вновь становились пьяны.

Торговали этой самогонкой три двора: одна солдатка и два мужика.

Торговали бойко: тридцать, сорок бутылок в день. Брали у них не только в своей деревне, но и приезжали, как за роскошью, из соседних деревень.

В последние недели спрос настолько увеличился, что на первый день не хватало. Эта нехватка была вызвана тем, что производство деревенской самогонки резко сократилось: чуть не каждую неделю волостной комитет предупреждал самогонщиков, что не нынче—завтра налетит из города комиссар с красногвардейцами и... упаси Бог тех, которые будут уличены в производстве самогонки!

— Имущество, значит, в наказание все до-тла, до нитки отберут, а потом расстреляют. Потому—не переводи хлеб на зелье, ежели он голодным нужен!

И самогонщики деревенские убоялись: один за другим попрятали свои „плепараты". Не убоялись только торговцы „высшей" самогонкой—надбавляли и, посмеиваясь, приговаривали:

— На самих надбавляют. А потом и так: ты взял бутылку—и был таков, а тут накроют тебя красногвардейцы и имущества лишат, и жисти. Должны мы это в расчет брать?

Наконец, мужики „надбавок“ не выдержали и собрались „обсудить“.

— И рассказывала Зиновия Акиму:

— Иду, вижу—куча, галдят, кричат. Остановилась. Слушаю. А потом и говорю серым дуракам:—Что же вы хотите сделать?—А то, орут, привести сюда этих спекулянков проклятых да допросить их хорошенько: где берут самогонку, ежели сами не гонют,—а торгуют!—Ну, и допросите, мол. Кто вам мешает?—И допросим. Прежде честью просили: скажите, где берете и почем берете—не говорят. А вот поучим малость, бока помнем — врут, скажут!—Да зачем вам, мол, бока мять?—Заволновались дураки серые, загудели:—Как, мол, зачем? А за тем самым. Мы, мол, вот когда хлеб продаем да все с надбавочкой нам иной раз стыдно: голодных грабим. Ну, а наши спекулянты, как видно, не стыдятся; не надбавь они на нас, и мы бы не надбавили. Разве это, мол, по совести—по 35 рублей за бутылку стали драть? А через неделю—сорок, а там—полсотни захотят? Вот мы их и попытаем: где берут, почем, сколько наживают и, ежели не по-божески дерут, уж поучим, как следует.—Вижу: дело плохо. И говорю:—Эх, мол, дяди бородатые! Говорите „по-божески“, а разве это „по божески“—людей увечить? „По-божески“, мол, вот как было бы: не покупайте, мол, вы вина,—за шиворот ведь за вином вас никто не тащит? А как приедет сюда комиссар из города—вы и укажите на наших спекулянтов: людей, мол, совращают пьянством, уберите их от нас. Вот это было бы, мужички, действительно по-божески. Вижу: вникли. И забормотали:

— Оно, конешно, мол, так-то лучше. Да только—у кого же тогда покупать?

— А это уж ваше дело. Они, конешно, после этого перестанут торговать? Кому же охота, чтобы его вконец изувечили? Не лучше ли так: вольному воля, спасенному рай!

Выслушал Аким, самодовольно ухмыльнулся и, поглаживая бороду, сказал:

— Долго им комиссара ждать придется. Сделай-ка ты

там еще надбавочку: ничего, на хлебе да на картошке наверстают. Да скажи там эфтим нашим людишкам, штоб крепче язык за зубами держали... И сама смотри в оба: штоб никто не видел, што вино от нас идет... А теперича, плати мне. Привез я тебе сто бутылок — по три красных—гони, значит, три тыщи!

Вынула Зановия из кармана пачки бумажек: керенки, николаевки—в пачечки перевязанные, в белую бумагу обернутые и на каждой карандашом помечено: 200, 300, 500.

Отсчитала три тысячи, взял Аким не проверяя—не раз уже проверял и всегда верно. Одну пачку в 300 рублей попытался было вернуть Зиновии.

— За труды получи.

Твердо заявила Зиновия:

— Не возьму, благодетель. Сколько ты ни давай—не возьму. К чему мне? Живу—хлеб есть, угол есть. Ничем не обижена, а больше мне ничего и не надо. Вот ежели умирать прежде меня будешь, чего не дай Бог—тогда не забудь на мою старость пожертвовать, да на помин твоей души. А раньше —копейки не возьму.

Не раз уже Аким предлагал Зиновии „за труды“—не брала старуха.

Акиму нравилась такая безкорыстность. Помолчал, подумал немного и сказал:

— Ну, так и быть, не буду пока што навязывать тебе. А вот как эти большаки сгинут—положу я тогда при жизни своей на твое имя хорошую сумму: штоб ты, значит, знала, што отлично я ценю труды и штоб не безпокоилась, што можешь остаться ни с чем, ежели я скоропостижно умру. Да только умирать-то я не собираюсь. Ох, поживем еще!

Выпил Аким стакан чаю и небрежно, точно говорил о копейках, продолжал:

— Никогда раньше до войны не думал, что таким дуром деньга валить может. Возьми одну самогонку... Теперича от каждой бутылки я две красных чистоганом в карман кладу. А ежели вообче взять—сколько ее в деревне выжрут, а в городе вдвое больше—сто бутылок в день моей самогонки выжрут непременно—вот тебе, Зиновия, две тыщи рублей чистогана в день имею от одной самогонки. За дрова тоже хорошо беру. Мельница там, кузня, подводы ломовые—счи-

тать не охота, как следует, сколько от всего в день наплывет. Знаешь, што наплывают в день тыщенки четыре—пять,—ну, и ладно, чаво их считать, когда ко мне идут. Ко мне идут—у меня будут. Вот другое дело, когда от меня уходят: тут уж я посчитаю! И кажный правильный коммерсант так должон делать.

В дверь кто-то властно, крепко постучал. Аким поморщился недовольно.

— Кого нелегкая несет? Посмотри-ка, Зиновия. А ежели, какая-нибудь неважная цаца—скажи, что отдыхаю я и принять не могу Да еще скажи, штоб наперед помнил: это, мол, тебе не свинятник, штоб так крепко стучать!

Пошла Зиновия. Аким быстро убрал со стола в карман деньги: хоть и говорил небрежно о деньгах, а не любил, когда посторонние видели у него деньги. Через две минуты перед Акимом остановился долговязый человек с протянутой рукой и с возгласом—как-будто насмешливым:

— А, родитель, здравствуй!

Аким видел, что человек явился естественным порядком—подошел не спеша, самоуверенно, но показалось Акиму—как-будто вырос из земли перед ним человек. И такой странный: с лица и с фигуры как-будто немного похож на его сына Ивана, а с голоса—совсем чужой, никогда не слыханный голос. Но протянул Аким человеку все-таки руку—только потому, что назвал его тот „родитель" и сказал с усмешкой:

— Как быдтись с сыном Иваном имею дело?

— Он самый, родитель. Иван Акимов Боголюб. Уж и фамилия: на деревенский или поповский вкус—пожалуй, и хорошая фамилия; ну, а на городской слух—дурацкая фамилия!

Всмотрелся Аким: действительно, его сын Иван. Но изменился за три года почти до неузнаваемости. Припомнил Аким: за последние два месяца он совсем не думал об Иване: только как-то раз недели две назад вспомнил мельком, сообразил, что больше полугода нет писем от Ивана, предположил, что, может быть Иван сгиб—и эта мысль не только не испугала Акима, но даже как-будто обрадовала: „Ну, и пусть!—подумал он тогда облегченно:—Кто его знает, каков „молодчик" явится? Может, тоже каким-нибудь чортом ска-

женным, там обернется? Порть тогда с ним кровь в роде Антошки"!

А, припомнив это, Аким сказал равнодушно:

— А я признаться, тебя уж и не ждал. Прикидывал так: сгиб, мол, там где нибудь, ежели так долго вестей о себе не подает.

— Вестей? Верно, родитель, не подавал. Такие дела были, что не до вестей к вам. Чего вы тут делаете: разве живете и думаете по-человечески? Жрете до отвала и деньгу с голодной России грабите. Вот и вся ваша жизнь:

Сразу вспыхнуло в Акиме враждебное чувство к сыну. И злобно он протянул:

— Ог-го! Да ты, как видно, хорош там гу-усь образовался!

— А ты, родитель, погоди ругаться: это всегда успеем! Я полагаю, что сына из солдатчины после трехлетнего отсутствия надо встречать по-иному: на столе у тебя самовар, я прямо с дороги, а ты даже стакану чаю не предложишь. Подобает тебе так, как отцу?

— Чай?—и Аким немного смутился.—Чай на столе. Наливай да пей. Разя барин какой—налить не можешь себе... —смутился еще больше под остро-насмешливым взглядом Ивана и позвал:—Зиновья! Налей ему чаю. Сам-то, видно, не хочет налить.

Зиновия, стоявшая в трех шагах позади Ивана, тронулась было к столу, но Иван загородил ей путь рукой.

— Осади назад, голуба. Чай я могу и сам налить, если родителю чаю для меня не жалко будет. А ты мне, родитель, сделай такое большое одолжение, объясни: что это у тебя за птица такая? На каких правах она у тебя? Я говорю ей: впускай, сын в родительский дом вернулся. А она мнется:—сын-то, мол, сын, а обожди малость: пойду спрошу. Я, понятно, отпихнул ее в сторону и прошел. Интересно знать!

— Права какие...—сдерживаясь от резких нот примиряюще сказал Аким—бабьего глаза в доме нет—вот и взял чужого человека.

— Так...—словно отрубил Иван, налил себе чаю, присел к столу и попросил:—А нет ли, родитель, водочки? Люблю выпить!

ГЛАВА XXIV.

Хотел Аким сухо отказать, что сам, мол, не пьет, а потому и в доме не имеет, но подумал—подвыпьет сын, разболтается, откроет себя больше—и приказал Зиновии подать водки и закуски.

Живо и ловко Зиновия подала то и другое и обратилась к Акиму:

— Мне можно итти?

— Да, иди. Больше не нужна.

Отвесила Зиновия Ивану молча почтительный поклон и вышла.

Выпил Иван, закусил и заметил:

— А оказывается, не глупа, родитель, баба-то. Я только хотел ее попросить об выходе—учуяла и сама выкатилась. А по роже видать—очень хотелось ей послушать, до чего мы при первой встрече договоримся. Давно любовницей твоей стала?

Побагровел Аким и хотел решительно осадить сына: напомнить ему, что из этого дома он никого не имеет права просить „об выходе", что ни о чем он, Аким, „договариваться" не станет—хочет сын беспрекословно выполнять то, что ему отец прикажет—может оставаться, в доме; не хочет—может итти на все четыре стороны; и наконец, как сын осмелился задать в такой грубой форме вопрос о „любовнице"?

Но сдержался Аким. Во-первых, вспомнил о своем сердце, которое так опасно тревожить, а, во-вторых, — говорил сын с такой спокойной, решительной смелостью, что Аким понял, что такой после первого окрика „вон, мол, отсюда!" сразу не уйдет.

И с унылой мыслью, что не ошибся он, когда думал, что придет в лице Ивана „какой-нибудь чорт скаженный", Аким мягко возразил:

— Думать бы надо, Иван, што отцу говоришь? Должен ты знать, что ежели я в молодости такими пакостями не занимался, так под старость и вовсе не займусь.

Взглянул Иван на отца—бегло, и понял.

— Не сердись, родитель. Вижу: ошибся я. Но ошибся малость: не окрутила она тебя пока, но будь покоен—скоро

окрутит. И на это, родитель, не сердись. Ничего тут особенного нет. Лет ей не мало, но рожа у ней такая—блудлива, как ведьма. От такой ни крестом, ни пестом не отделаешься. И если бы она вертелась около меня, я бы непременно с ней связался. Непременно!

Понравилось Акиму то, что сын так скоро понял свою ошибку, понравилось, что и он назвал Зиновию „ведьмой", но не понравилось мысль, что с таким сыном надо держать ухо очень и очень остро.

Учел Аким, что не старые времена, когда к нему на помощь могли прийдти становой, урядник, стражник, что времена такие,—возьмет этот молодой, здоровый сын его, Акима, старика, за шиворот и выбросит из собственного дома как щенка, и нигде он не найдет „ни суда", „ни управы". И решил Аким: держать ухо остро, линию свою вести осторожно, но твердо, быть с Иваном помягче и вглядываться в него зорко.

Знал Аким по своему опыту, что глупого можно обмануть, трусливого—запугать, но с умным и смелым без уступок не обойдешься. А еще лучше—суметь быть умнее этого умного, найти в нем слабые сторонки—тогда и умного можно хорошо к рукам прибрать.

И подсел Аким поближе к Ивану, налил в стакан вина, пододвинул к сыну и заговорил ласково:

— Пей на свиданье-то! Сам бы с тобой выпил, да нельзя: отпил свое время. И не думай, што я тебе не рад. Ждал, сынок, тебя во как: ночей не спал! Делов всяких кругом пропасть, а взяться не под силу: один не осилишь, а помощников нет. Потом пришел помощник... нежданно-негаданно... Антон... я считал, что давно его в живых нет, а он—явился. Эх, да и рад я был,—только эфта радость потом в горе обернулась. Хулить Антона не буду—не плохой человек, а сжиться с ним никак нельзя... Ну и разошлись... Старуха за ним по глупости своей потянулась. Не сужу и ее: за сыном ведь потянулась. Только боюсь, што зря потянулась: уж больно он, Антон-то, тронутый человек! Сразу никак поймешь — диковина! Вот сам увидишь его... И так он меня ошарашил—в себя до сей поры, как следует, прийдти не могу. А тут ты,—как снег на голову. И тоже—нежданно-не гаданно. Вестей не подавал никаких. А время какое? Думал может и Ивана в живых нет. Теперича

можно сказать—славу Богу! Хоть один помощник остался. И ежели Иван хочешь с отцом работать—такие дела мы с тобой развернем, што люди только рты разинут. И в обиде от меня ни в чем не будешь—на эфтот счет будь покоен. Я не как другие-прочие отцы дураки, которые думают, што умнее эфтого ничего не может быть, как только сыновей в дугу гнуть. Я смотрю на эфто сынок иначе: согнуть дугу можно, а вот выпрямить ее опять в ровную балясину—не выпрямишь, как ни бейся. У меня ежели сын делок, мозгой раскидывать может, так ход ему такой дам: обламывай дела, какие хошь, ежели думаешь, што обломаешь, а я только со стороны посмотрю и, ежели дело чисто сделано—в ножки сыну за смекалку поклонюсь! Вот как я смотрю. Будем, значит, сынок, работать? а?

ГЛАВА XVI.

Как-будто краешком уха слушал Иван отца:—выпил и с аппетитом, не спеша, закусывал. Потом посмотрел на обстановку и сказал:

— Мягкая... плюшевая... Совсем помещичья! Но, как видно, родитель, нам этого мало. Из грязи в князи хочем вылезти. Любопытно!

— Зачем в князи? Понимаем, сынок: мужиками родились—мужиками и умрем. А в люди выходить—эфтого Бог и добрые люди никому не запрещают. Ежели я мужик—почему мне нельзя быть купцом?

— Быть-то можно, да только смотри, родитель: не запоздал ли в купцы-то лезть? Мерекаешь, какое время-то идет, или нет?

— Мерекаю. Не лыком шит. Да только... не на долго это время. Пройдет оно!—убежденно ответил Аким.

Иван выпил еще, встал и заходил по комнате. И раньше обратил внимание Аким на то, когда еще сын пробыл с ним каких-нибудь пять минут, что от прежней мешковатости Ивана не осталось и следа.

А теперь видел Аким в долговязой фигуре сына не только увертливость, а и силу, которую нескоро за жабры схватишь.

И припомнилось нечто Акиму.

В детстве бойкий Антон достал где-то маленький пузырек ртути, выждал день, когда мать пекла хлебы, вылил в один хлеб ртуть и замазал так, что мать, сажая хлеб в печь, ничего не заметила. А потом этот хлеб выскочил из печи и вызвал столько в доме перепугу, столько разговоров, что в доме завелись такие „нечистые", что если бы не поп, объяснивший свойство ртути, то в доме от глупых росказней невыносимо было бы жить.

Припомнил это Аким и сообразил, что весь вопрос в том, как подогреть Ивана: если сделать так, и он пойдет нога в ногу, и—у Акима даже голова закружилась от мысли, что можно сделать вдвоем с таким сыном; если же против себя—от этой мысли у Акима побежал холодок по спине.

И с восхищением и со страхом у Акима невольно вырвалось:

— Ну и сынок! Смотрю на тебя и прямо диву даюсь. Какой был ты—и какой стал? Прыти-то в тебе сколько, прыти-то—откуда такое взялось—сразу и головы не приложишь!

— Откуда? Ну, это я родитель как-нибудь потом тебе расскажу.

— Да ты сичас,—и Аким налил вина:—Тяпни-ка вот для красноречия и расскажи.

— Нет, потом. А сейчас вот што... Нехорошо, что ты весь дом разогнал...

Аким было раскрыл рот, но Иван сделал такой повелительный жест рукой, что Аким так с раскрытым ртом и остался.

— Молчи, родитель! Уж я тебя знаю да перезнаю, вдоль и поперек. В чем дело—почему мать и братья разбежались,—я тебя спрашивать не стану. Ты, родитель, все, что ты делаешь,—очень дорого ценишь; только слова у тебя дешевы: соврешь—не дорого возьмешь. Правда у тебя куцая, хамская! Почему мать и братья из дому ушли—это я узнаю от них, кто виноват. Как ты здесь жил, родитель, и как действовал—немного я знаю со слов своей жены. Когда я ехал сюда—она тоже ехала из города; ну и порассказала мне кое-что. Рассказала, между прочим, как ты ей какой-то дорогой материи на два платья дал, а потом отнял: за то будто бы отнял, что склонял ее занять мое место, снохачем хотел быть, а она не согласилась. Ну, а насчет „снохача я не поверил. Уж очень рожей не вышла для этого. Итак—ее за эту выдумку отчистил—больше никому об этом незаикнется".

Понравилось Акиму, что сын верно понял.

— Правильно, Иван! Подумай, материя около тыщи стоит. А она—последняя баба—из дому уходит, за хозяйством приглядывать не хочет, а материи ей давай, да еще што выдумала: вспомоществование ей дай!

— И должен был дать—и материю и деньгами. Как она ни глупа и не ленива, но ведь все-таки она тебе не мало работала. Отдай ты ей материю, а кроме этого дай еще пять тысяч.

— Пять тыщ!—и Аким даже привскочил со стула:—это ей-то—такому бревну стоеросовому.

— Да, да, родитель,—этому бревну стоеросовому! Завтра или послезавтра она к тебе придет—вот ты с ней и рассчитывайся. Жить я с ней больше не буду—я уж ей об этом сказал. Не по доброй воле я на ней женился—ты такое сокровище выискал, твоя вина—вот за эту вину, родитель, и платись.

Посмотрел Аким на сына: говорит со спокойной усмешечкой,—а почему-то страшен кажется. И сдался Аким, подумав, что вот уже первая „уступочка“.

— Ну, да, конешно, ежели ты с ней жить не хочешь—тогда, понятно, я ей дам пять тыщ. Я работу ценю. Ничья работа за мной не пропадет.

— И материю отдай,—запомнил Иван.

— И материю отдам,—покорно согласился Аким, а про себя со злобой подумал, что вот и еще почти тысченка летит из кармана: материю-то надо покупать.

Подошел Иван к столу, выпил одним махом стакан вина и вдруг его лицо так мучительно исказилось, точно это был уже другой человек.

И заговорил он глухо, сдавленно, странно.

— Ну, это, родитель, хорошо, что ты так скоро уступаешь. Может, так с тобой и споемся. Будем работать, дела делать, но только помни, что надо быть теперь помягче и почестнее, чем был раньше; времена другие. Кровь твоя, родитель, во мне проклятая—жадная... Как подумаю—как жить, что делать? Так и знаю, что, поставь меня на дело, при котором денег на руках нет—зачахну я на таком деле. Непременно мне нужно дело такое, при котором деньга без перерыва в руках течет. Покупай—продавай, получай—отдавай и, хоть немного наживай, а все-таки наживай. Непременно

Ни капельки не задумался и не обиделся Аким, что в сыне кровь „проклятая-жадная“, наоборот—обрадовался безмерно. И сказал так любовно, ласково—никогда так никому в жизни не говорил:

— Так, сынок, так!.. Вот и принимайся за дело.

Ничего Иван не ответил.

Вскоре улеглись спать. Аким в своей спальне, Иван—на диване. Иван спал—крепко, Аким—плохо: всю ночь его томило радостное волнение и возбужденный мозг рисовал ему картины обогащения одна другой заманчивее. Признание сына, что и он чувствует в себе жадность к деньгам, что только он на том деле и может стоять: „покупай—продавай, получай—отдавай“—это признание было так хорошо знакомо Акиму. Всю жизнь свою Аким чувствовал в себе жадность к деньгам, знал, как эта жадность неутолима и необъятна—и верил Аким, что не уйдет от страшной власти этой жадности и сын Иван.

На утро Аким поднялся раньше Ивана. Вышел на двор и сейчас же столкнулся с Зиновией, которая уже давно поджидала Акима.

— Ну, что, Аким Петрович, как с сынком-то порешили?—спросила она тотчас же крайне встревоженным тоном.

Улыбнулся Аким, как именинник.

— Ничего, хорошо порешили. Жох он этот сынок-то, первый сорт. Эфто, Зиновия, мне такой помощник будет—лучше и не надо!

Выслушала Зиновия, покачала головой и сказала внушительно:

— А я тебе вот что, благодетель, скажу. Тысячи людей я на своем веку видела, сама не из трусливого десятка, мало я встречала людей, которых бы боялась. А его вот боюсь. Как увидела его рожу—оторопь меня сразу взяла. Сама еще не знаю, чего боюсь, а боюсь. И мой тебе совет, благодетель: не в помощники его себе бери, а обходи его как можно подальше!

Аким рассмеялся:

— Ну, и наплела! Знаю я, што делаю: ворон ворону глаз не выклюет!

— Ну, твое дело. Не мне тебя учить.

Через час Аким уехал с Иваном в город. Был Иван по дороге угрюм, замкнут, с отцом почти не говорил, но Аким сиял.

В городе на дровяном складе конторщику и на ломовом извозе работникам Аким представил Ивана, как хозяина, потом поехал в магазин—купил паплину и шерстяной материи, а затем отправился в ресторан, где собирались всякие дельцы и спекулянты, где всем с сияющим и победоносным видом объяснял:

— А у меня сын-солдат вернулся. Ну, и образовался там: такой жох, што дальше, кажись, ехать некуда. Теперича мы с ним в коммерческих делах покажем себя!

Спекулянты смотрели на Акима и говорили, что если сын этот похож на отца, то надо ожидать, что такая парочка действительно себя покажет!

Аким чувствовал себя от таких речей на седьмом небе.

Потом поехал домой и пробыл без выхода два дня: удосужился, наконец, пересчитать, сколько у него денег. Дверь на запоре держал, окна занавесил, чтобы никто не видел. Денег получилось много—свыше трехсот тысяч рублей.

Считал Аким и сам себе не верил, что он—такой уже капиталист.

В эти дни приходила сноха—жена Ивана. Принял ее Аким в старой избе, назвал десяток свидетелей и при них вручил ей материи на платье и пять тысяч с тем, чтобы она до его дома больше не касалась. И проделал это с подчеркиваниями, что—кто-де кроме него так великодушно поступит!

На третий день Аким вроде прогулки поехал в город. Заглянул к Ивану на склад и натолкнулся на сцену: таскал Иван мальчишку конторщика за волосы и приговаривал:

— Пятьдесят рублей, жалованье, говоришь, маленькое, жить на него трудно? Получи 150, но не воруй, не бери с покупателя сверх положенного. Мало будет 150 - хозяину скажи: хозяин хороший прибавит еще, но не воруй, не воруй!

Понравилось Акиму такая расправа, посмеялся он и поехал на ломовой извоз. Там уже Акиму не понравилось: все работники наперерыв хвалили Ивана за то, что он жалованья всем прибавил и пищу улучшил.

Поморщился Аким: тут уж пахло не сотней, а тысячами двумя лишнего расхода в месяц.

Но решил сыну ничего не говорить об этом: Иван перерасходует, он же и наверстает. Вот только какое-нибудь новое дело поскорее раздуть.

И опять отправился Аким в ресторан. Там при одном разговоре он намекнул, что если навернется подходящее дело, может он вложить в дело до 500 тысяч рублей и сразу стал центром внимания: у всякого спекулянта имелось несколько подходящих дел и всякий старался перетянуть на свою сторону этого „мужичка", метящего в миллионеры.

И хоть кружилась у Акима голова от лести коммерсантов, что с мозгом, значит, он мужичок, если в недалеком будущем будет миллионером, но твердо помнил Аким, что забываться не следует и пусть уж лучше он обманет кого-нибудь, чем обманут его.

В конце концов, подвернулось дело, как-будто бы подходящее. Один спекулянт, который еще не успел туго набить мошну, сообщил под величайшим секретом, что в одном из уездов при содействии земельного комитета можно потихоньку купить 75 десятин хорошего строевого леса, что лес этот можно скоро свести, ибо под боком имеется большая лесопилка, что с этим делом надо торопиться—пока в земельном комитете сидят свои люди.

Выспросил Аким ловко, где находится этот лес, дал слово спекулянту, что через три дня пойдет с ним устраивать это дело, и сейчас же поехал к Ивану с тем, чтобы немедленно отправиться с Иваном в этот уезд.

Но Ивана на дровяном складе не оказалось: не оказалось его и на ломовом извозе. Решил Аким отложить розыски Ивана до завтра и поехал домой. И во всю дорогу Аким ухмылялся, представляя себе, что за рожа будет у спекулянта, когда он узнает, что хорошее дельце вырвано у него, что называется „прямо из рук" фирмой: „Торговая фирма Акима Петровича Боголюба с сыном".

Такого рода вывески для дровяного склада, ломового извоза и мельниц Аким решил заказать маляру в ближайшие же дни.

Но проезжая по деревне Аким натолкнулся на явление, от которого у него и тоскливо и злобно вдруг забилось

сердце. У одной избы на завалинке сидели в ряд чинно человек шесть самых уважаемых стариков в деревне в поддевках, туго перетянутых кушаками, в высоких „гречишниках"—(деревенского изготовления шляпах) и с неизменными посошками в руках.

Эти посошки тому, кто знает жизнь деревни, говорят многое: посошки у хилых—не в счет, посошки же у еще здоровых стариков—это первый признак, что эти старики пользуются всеобщим общественным уважением, что эти старики - слывут за первые умы в деревне.

Так уж в деревне изстари повелось: посошка ни один старик, если он не заслужил уважения деревни, в руки не возьмет. Решаются на это иногда только особенно наглые кулаки из желания показать, что их мол, уважают, но уважения такие ни от кого не видят, а насмешек за недостойно присвоенный посошок—сколько угодно.

Сидели эти уважаемые старики на завалинке, а перед ними в почтительных позах стояли пожилые, солидные мужики и слушали, что говорят „первые умы деревни".

Было около шести вечера—совсем светло и видел Аким, что и старики и мужики—все его заметили, все в его сторону взглянули, но никто из них ему не поклонился.

Это обстоятельство Аким учел, как обстоятельство немаловажное.

Все эти старики в общем представляли из себя такой вес, с которым каждый живущий в деревне должен был всегда считаться: редкие из таких стариков бывают богатеями, большей частью все—средне-зажиточные, а иногда и совсем бедные, и сила их в том, что они трудолюбивы, честны—никто за ними не знает, чтобы они поживились чужой копейкой, а главное—это всегда первые безкорыстные работники за общемирские интересы, - работники не за страх, а за совесть.

Иметь поддержку этих стариков за себя—значит иметь многое; восстановить их против себя—значит сделать свою жизнь в деревне невыносимой: засмеют тогда и заплюют люди, хотя бы самаго первого богатея.

Аким знал, что за сила эти старики и старался ладить с ними. И ладить удавалось—не без труда: даже самые бедные из этих стариков люди—гордые, никогда на поклон к богатеям не ходящие, а, наоборот, богатеи к ним идут с предложением своих услуг, имея в виду их поддержку.

Знал Аким, что за сила эти старики и встревожился—тоскливо подумал: „Вон как пошло... вон как вдарило... Далеко, значит, заехало, ежели ни один шапки не сломал!"

И решил Аким сегодня же узнать, что, собственно, восстановило так сразу против него этих стариков.

О мужиках, которых собралось перед стариками человек 25, Аким не думал: стоит вернуть расположение стариков —тогда унижаясь, потянутся искать расположение Акима эти мужики.

Аким только постарался рассмотреть, кто эти мужики, и расмотрел, что человек семь из этих мужиков беднота: которые уже у него просили взаймы семян на яровые поля.

Семян он им обещал дать, но теперь со злобой решил Аким, что когда взбухнет земля от дождей и придет яровой сев—он этим мужикам семян не даст, да и другим кулакам скажет, чтобы ни под каким видом не давали, а направляли все к нему же—к Акиму. Вот тогда они и попляшут пред ним, поунижаются, а он им напомнит: это мол за то, что шапки не ломаете пред тем, пред кем всегда ломать следует!

Доехал Аким до дому, сдал лошадь работнице и, приказав сейчас же разыскать и послать к нему Зиновию, пошел в дом.

Минут через пять Зиновия явилась. Хотел было Аким приказать Зиновии, чтобы она сегодни же узнала, что такое затеялось против него в деревне и кем затеялось, но увидел, что у Зиновии встревоженное лицо и хмуро бросил:

— Уж не случилось ли чево-нибудь дома?

ГЛАВА XVII.

Зиновия не заохала, не заахала по-бабьи—строго и властно сказала:

— Угадал! Говорила я тебе: держи сына подальше от себя, будет он тебе хуже лихого татарина—не послушал, так пеняй на себя!...

— Ну, ты мне рацеи не читай,—еще хмурее бросил Аким.—Говори скорее—в чем дело?

— А в том дело... Приехал сюда твой сынок, мужиков собрал. Не знаю всего, что он там говорил, знаю только, что восстанавливал против тебя мужиков. Ну, мужики упирались: „как, мол, итти против твоего батюшки, Иван Акимыч, ежели скоро яровые сеять надо а у нас семян нету—поневоле твоему батюшке кланяться придется“. Этот твой Иван Акимыч, недолго думал: привел с собой мужиков, ключи у меня от амбара потребовал и отсыпал всем, кто только хотел и сколько хотел, семян на сев мер двести! Да еще, передавали мне, когда отсыпал, то смеялся: „Сведу, говорит, я своего родителя с ума“...

Побледнел Аким, потом побагровел и двинулся было на Зиновию с угрожающе поднятым вверх кулаком:

— Што? Мер двести! Ключи отдала от амбара? Да как ты смела?!

Зиновия с места не тронулась—только сказала:

— Посмотрела бы я, как ты бы ему ключи не отдал? Ну, прямо второй Емелька Пугачев твой сынок-то!

И такая сила ненависти сверкнула в глазах Зиновии к этому Емельке Пугачеву, что Аким опустил кулак и задумался. Прежде всего он не мог сообразить, как мог Иван так скоро обернуться: около 12 час. дня Аким был у него на дровяном складе, а к 6 вечера Иван успел приехать в деревню, поговорить с мужиками и отсыпать около двухсот мер семян из амбара. Потом припомнил, хотя и не солидную, но живую, подвижную фигуру Ивана и со страхом и с алчностью страстно заговорил:

— Нет, ты только подумай, Зиновия, как он действует: молния, прямо, как молния! Ежели бы он со мной в миру да в ладу хотел бы жить—Боже ты мой, штоб мы с ним наломали всяких делов коммерческих там: через год бы всех купцов в городе забили! Уж вижу, уж чувствую теперича: вот про кого можно сказать, што сам чорт ему не брат! Ты только, Зиновия, подумай: еще недели нет, как он, разбойник, пришел, а что он со мной сделал, какие убытки мне произвел? Этому пню чортову, прости Господи, жене его—пять тыщ отвалил,—куды ей, такой безмозглой колоде, такие деньги? Прибавь: на платья ей около тыщи выбросил! Потом эфтим, чертям, извозчикам ломовым... нашел, вишь, што пища у них плоха, кормить, мол рабочий люд жирнее надо

и надбавил им на пищу копеечку: в месяц то эфта надбавочка тыщи в две влетит. Ну, а уж о семенах и толковать нечего: овес в городе по 30 по 40 рублей за пуд идет, а гречиха и просо—дай, пожалуйста, за сто, за сто двадцать пять и нету! И вот, ежели эфти все убытки сосчитать—тыщ в 25 сынок мне в неделю влетел. А ежели двести мер овса, гречихи и проса считать,—сколько оне будут стоит этак, примерно, месяца через четыре?—тут уж тебя, как обухом по лбу. Тады проси за пудик гречневой или пшенной кашки три, четыре сотни и дадут все эфти там городские барыни да спекулянты. Врут, дадут, с голоду то, ведь, подыхать никому не охота. Денег не будет,—салопы свои продадут, все, и потом уж дохнуть станут! Выходит, значит, што свой единокровный сын на верную сотню тыщ—сотню тыщ!—отца наказал!

Зиновия хищно усмехнулась и оборвала довольно грубо:

— Ну, батюшка, Аким Петрович, убытки ты свои потом посчитаешь. А теперь, скажи мне: как же ты дальше-то поведешь себя с ним? Неужто, так и будет он давить тебя за горло? Скоро он придет... Так сказал: передай отцу, мол, штоб ждал меня...

— Как придет?—испуганно вырвалось у Акима:—Зачем? Што ему от меня еще надо?

— А это уж я не знаю. Спроси его, когда он будет. А вот я опять спрашиваю: как поведешь себя с ним?—помедлила Зиновия и добавила:—а я... думаю я, что такого лиходея отцу своему родному... отравить мало!

Взглянул Аким на Зиновию взглядом долгим, пристальным, потом пошел в свою спальню, вернулся оттуда через минуту с револьвером в руках и, осматривая, все ли пули в гнездах есть, бросил кратко и жестоко:

— Брал я с собой эту штуку... кады по уездишкам там за покупкой дров мотался... От разных, значит, лихих людей защита!... А теперича вот... Што же в сам деле, ежели он меня за горло возьмет... ежели меня до нитки ограбить вздумает... Кулаком от него не оборонишься—у него кулак-то помоложе!

Взглянула Зиновия, в свою очередь, на Акима взглядом долгим, пристальным и сказала тоном легким, насмешливым, как-будто вдруг Иван стал совершенно не опасен:

— Передали мне: сидит сынок-то твой у Прошки Семочкина—нашел хорошего человека: головотяпа! Собрал всех солдат и подбивает их: все, говорит, эти кулацкие комитеты к чортовой матери надо разогнать! Пусть его поговорит, потешится... А я к его приходу самоварчик поставлю, закусочки на стол получше, винца—чем богаты, мол, тем и рады, Иван Акимыч! Пожалуйте, мол, за стол, а за столом, за чарочкой винца, в мирной беседе с родителем договоритесь, как вам в мире и согласии жить...

Ничего не сказал Аким Зиновии: только револьвер в карман штанов спрятал и голову наклонил.

Сходила Зиновия в старую избу, порылась там в шкатулке, в которой было и маслице со святых мест, и „живая вода“ из каких-то источников, камушки с горы Голгофы, землица из сада Гефсиманского и даже кусочки дерева от креста Господня,—и вернулась с крошечным узелком.

Через час на столе кипел самовар, стояли закуски, вино в графине—барский стол, а Ивана все не было.

Сидела около стола Зиновия, готовая при первом стуке отпереть гостю дверь. Ходил по комнате тяжелыми, беспокойными шагами молча Аким и часто взглядывал на портрет Николая II в золоченой рамке; взглянет и глубоко вздохнет.

Явился Иван часов в десять вечера, и сразу, едва переступив порог, со смехом заявил:

— На дровяной склад, родитель, и на ломовой извоз ты не заглядывай: я там теперь хозяин, а ты—никто. А кроме того вгоню я тебе Антона, мать и дурака Семку не дешево...

Взглянул Аким на Ивана и понял, что не шутит он насчет „хозяина“. Потом подумал, что значит „вгоню Антона, мать и дурака Семку“ и хоть не понял, в чем тут дело, но почувствовал, что есть в этой угрозе какой-то зловещий смысл.

И решительно опустил руку Аким в карман штанов.

Это движение руки не укрылось от Ивана. Взглянул он остро на то место штанов, где поместилась рука Акима и, хотя то место было скрыто поддевкой, но казалось Акиму, что видит Иван, что у него в кармане...

Сбросил с себя Иван шинель на стул и потер руки так,—словно решил пуститься сейчас в рукопашную.

Так и Зиновия поняла. Встала с кресла и, указывая на стол широким, радушным жестом, обратилась к Ивану:

— А нехорошо Иван Акимыч. Никогда брань до добра не доводит. Сядьте-ка вот с папашенькой за стол, да за чаркой вина потолкуйте ладком: пользы-то больше будет. В мирной-то беседе скорее договоритесь, чем в брани.

И голосок у Зиновии был таков—бóльшего душевного расположения и желать нельзя.

Взглянул быстро, искоса Иван на стол, потом на Зиновию и сказал с усмешкой:

— Да... постарались... Закусочка такая — только помещикам кушать. Слюнки текут, а все-таки не стану. Чорт тебя знает, ведьму киевскую, что у тебя на уме-то: еще отравишь! Лучше уж я свою закуску и выпивку...

— Что вы, Иван Акимыч!.. всплеснула руками Зиновия:—Как вам не грех...

Вынул Иван из одного кармана брюк полбутылки вина и соленый огурец, выпил, закусил и достал из другого кармана брюк маленький браунинг.

Аким при виде браунинга попятился назад, Зиновия—побледнела.

— Испугался?—весело заметил Иван:—Не бойтесь: стрелять в вас не буду. Очень вы мне нужны... Я только хочу показать вам, как я из этой штучки палить насобачился. Вижу вот я, родитель у тебя „благочестивейшего“, „самодержавнейшего“. Давно бы его выкинуть надо, а он у тебя все торчит. Понимаю, родитель: жалко таким, как ты, расстаться с ним: при нем первым делом было—уважай, мол, родителей, чины, начальство! А если по-доброму уважить не хочешь—урядник нагайкой заставит. Вот мы сейчас этого „благочестивейшего“-то и распатроним...

Иван сделал короткую паузу, а затем, почти не целясь, стал расстреливать портрет, командуя себе:

— В ноги... раз!

— В грудь... два!

— В „самодержавнейшую и благочестивейшую голову... три!

Опустил Иван браунинг.

— А теперь, родитель, посмотри: чисто ли я палю? Непромахнулся—ли? Кажется — нет!

Верно: промаха не было. В ногах, груди и голове портрета виднелись дырки.

Тупо, растерянно, посмотрел Аким на портрет, потом на Ивана и вдруг взвыл в животном испуге дико пронзительно:

— Зиновия... Зино-вия!... Да ведь эфто што... разбой! Ужасти! Беги... народ сзывай!

— Ни с места, ведьма! Растреляю, как паршивую ворону!—цыкнул Иван так твердо и отчетливо, точно кто несколько раз ударил металлом о металл.

И рванувшаяся было Зиновия осталась сидеть, как прикованная.

Подошел Иван к отцу.

— Дозволь-ка, родитель, осмотреть твой кармашек. И не супротивничай у меня. А не то...—и опять прозвучало резко и металлически:—убью без всякой жалости, как бешеную сабаку!

И настолько Аким почувствовал, что это не пустая угроза, что сам вынул револьвер из кармана и как-то странно—слабо, беспомощно выронил его из рук.

Отобрал Иван револьвер, сунул вместе с браунингом в карман, подошел к столу, выпил из своей полбутылки, пожевал огурец и, презрительно посматривая на отца, сказал:

— Так-то лучше, родитель: теперь поговорим без опаски.

— О чем нам говорить? — жалко, беспомощно выкрикнул Аким. — Ежели ты не совсем разбойник — отделись от меня. Дам я тебе 25 тыщ — целый ведь капитал, ты его не наживал, я горбом сбивал, — и отойди ты, Христа ради, от меня. Не касайся до меня, и я до тебя не коснусь.

— 25 тыщ...—протянул Иван так, что показалось Акиму, что эта сумма прельщает Ивана и подумал обрадованно Аким, что, может-быть, он с Иваном мирно сладится. — Да, родитель, денежки не малые—только—смотря кому? Расскажу я тебе одну историю. Жил я у одного офицера денщиком. Игрок он был, пьяница, развратник — отчаянный; казенные деньги воровал десятками тысяч. Иногда я его в месяц только и вижу дня два, три; да и то мертвецки пьяного. Денег у него бывали иногда полны карманы и сколько не утащи — никогда не узнает. Ну, я и тащил тысячами! И то же в игру втянулся. Ходил в один притон, где всякие жулики, спекулянты в один вечер десятки тысяч бросали.

Ну, конечно, около таких я хорошо образовался: тысячу, две на карту поставить — ровно плюнуть. Бывало так: подыграешь тысяч 15—20, а потом в два три удара их спустишь. В шмондеферчик, родитель, играли, а попросту — в железку. Был у меня такой раз случай: поставил в банк 500 рублей и решил, что не сниму банка до тех пор, пока в нем будет не меньше ста тысяч рублей. А для этого надо было убить восемь карт. Убил я семь карт, 64 тысячи насчитал моих денег, чую, что восьмая карта скорее всего будет бита, а все-таки пошел. Пусть, мол, будет 128 тысяч, или — ничего! Получилось — ничего: били мою карту. Понял, родитель? А ты меня думаешь купить за каких-то 25 тысяч. Смешно!

Взглянул Аким на сына подозрительно -- не хвастает ли мол? Показалось, что говорит правду и лицо Акима выразило такой испуг, какого не выражало, когда он увидел в руках сына браунинг.

И опустил Аким голову так тупо и покорно, как от неотвратимого удара.

Заговорил Иван — так спокойно сидел он на кресле, вытянув ноги, точно никаких счетов у него с отцом не было— и рассказывает отцу просто, как свои воспоминания.

— Хочу я с тобой, родитель, поговорить по-человечески в последний раз. И если после этого не образумишься— пеняй тогда на себя. Въеду я тогда тебе в 23 удовольствия. А только боюсь: едва ли ты их все вынесешь...

Как не был пришиблен Аким, но в странных словах об „удовольствиях" он почувствовал такую большую угрозу, что посмотрел растерянно и умоляюще на Зиновию, словно ища защиты и пробормотал:

— Господи, ты Боже мой!.. Ничево не пойму... Какие такие удовольствия?

— Погоди, родитель. Не торопись. Узнаешь. Своей жене я тебя пять тысяч отдать заставил, — считай: это — первое удовольствие для тебя! Семян я из твоего амбара отсыпал— втрое удовольствие: подороже первого. Дровяной склад и ломовой извоз у тебя отнял — третье удовольствие: подороже второго.

— Ну, это еще увидим, как отнял-то! — возразил Аким:— Хоть и нет сейчас никакого порядка на земле, власти нет,

начальства, но есть добрые люди на свете, поймут, што, ежели таким, дневным грабежам не препятствовать, — тады и на свете никому жить нельзя.

— Да уж отнял. Будь покоен. — И Иван так легко улыбнулся, точно вопрос шел о пустяке, которому цена грош: — Ты, родитель, и носу не кажи на склад. Если меня не будет, — так без меня там тебя такой дядя встретит — непоздоровится тебе от него. Ломовики тоже с тобой говорить не пожелают. На добрых людей рассчитываешь, когда тебе головку к земле приклонили, а сам-то был к людям добр?

— Креста с людей не снимал! — злобно огрызнулся Аким.

— Медного, родитель, мужицкого, верно не снимал. Какая ему цена? А дай тебе волю, ну, хотя бы со всего города золотые крестики поснимать — думаю я, — снял бы ты!

Промолчал Аким. Продолжал Иван:

— Ну, а о четвертом удовольствии — речь впереди. Полагаю я родитель, что обойдется оно тебе дороже третьего!

И опять Аким поднял голову — лицо тупое, взгляд бессмысленный, — как-будто действительно уж ничего не понимал. И вдруг вскочил, бросился к Ивану и исступленно закричал:

— Бей, разбойник! Не сын ты мне — будь ты, анафема, проклят! Бей до смерти из своего револьвера. Не тяни за душу, не мучь! Бей до смерти и пользуйся всем отцовским, окаянная сила!

Вскочила и Зиновия, стараясь выскользнуть из дому.

Откинул их Иван к стене, на диван с такой силой, что где Аким и Зиновия ударились о диван, там охая и стоная, и присели.

А Иван опустился на то же кресло, так же вытянул ноги и эти ноги, казалось, пугали Акима больше, чем весь Иван в целом: он смотрел па ноги с таким недоуменным ужасом и безпомощностью, точно решил, что пока он видит эти ноги, то нужно оставить всякую мысль о каком-либо, хотя бы слабом сопротивлении.

ГЛАВА XVIII.

Иначе держала себя Зиновия. Оправившись от ушиба, она рассматривала и слушала Ивана с таким жадным вниманием, — как-будто умно решила, что для того, чтобы победить врага нужно не дрожать пред ним от страха, а постигать и изучать его.

Продолжал Иван:

— Не ругайся, родитель! Ты намедни просил меня рассказать — откуда во мне такая „прыть“. Тогда — не хотелось; теперь — раскажу. А ты — послушай да подумай... Мне вот про тебя на деревне говорят, что умнее себя ты никого не признаешь, что любимая твоя поговорочка „ежели мол, кто с умом-то, тот завсегда не пропадет“ — из всякой мол, грязной воды чистым выйдет. Дураком я тебя, родитель, не назову; но когда ты про себя думаешь, что ты умен — через-чур много родитель себе чести приписываешь. Умных людей ты не видал, а если бы и видал — то нескоро бы понял. Таких людей, как ты, как я, — для того, чтобы мы умных людей поняли — прежде всего бить много надо: волчью хватку прежде из нас надо выколотить — тогда мы и сами поумнеем, и умных людей понимать начнем... Неиначе, родитель! Меня вот били много — и я не жалею, что били. Слушай-ка вот... Да и пусть твоя тайная советница кстати послушает. — Иван слегка кивнул в сторону Зиновии головой: — Смотрю я на вас: хороша парочка подобралась! Жми-дави, жми-дави для своего кармана темных да глупых людей — вот в чем весь ваш ум заключается. Может, и из вас люди неплохие получатся, если вас хорошенько несколько раз в жмыхи пожать, как меня жали. Ушел я на военную службу от тебя, родитель, пнем неотесанным, мешок-мешком, а жадности от тебя перенял больше чем следует. Как ты, родитель, мимо чужой копейки всю свою жизнь не мог пройти, чтобы не заграбастать ее, так и я по твоим стопам-было пошел. Да благо мне, что на хорошего человека напал. Нескладен я оказался в строю и угодил к одному офицеру в денщики. Бил он меня за дело, а в три раза больше без дела; а когда поймал меня на моей жадности к копеечке — в десять раз больше стал бить без дела. Бил со скулы на скулу, с уха на ухо, вдоль и поперек рыла и все приговаривал: Я тебе, голубчик, въеду в 23 удовольствия! „Ты вот, родитель, взвыл от трех удовольствий“, а я этим удовольствиям счет потерял. Бил и, кроме „23 удовольствий“ еще приговаривал, что отучит меня быть жуликом. А сам был

жулик, казнокрад отъявленный. Почему-то жулики больше честных людей жуликов не любят. Хитрая эта механика, родитель, когда вор у вора дубинку крадет и обворованный вор всегда кричит — больше, чем обворованный честный человек. Ты вот, родитель, всю свою жизнь, был жулик, а жуликов тоже не любишь.

Схватил себя Аким за голову, побагровел, жилы на лбу напружились, как веревки — казалось, хватит старика удар, — но прошло. Только, поморщился и сказал как бы, жалко — обиженно:

— На старости лет от сына такое слышать? До чего дожил?

— Ничего, родитель, доживешься кое до чего еще похуже: а тогда и станешь получше! Слышал я от одного умного человека такую загадку: У людей, говорят, мозги есть, да только так лениво люди ими ворошат, что необходимо людей бить. Кого кулаком, кого палкой, кого и обстоятельствами, но бить всех необходимо. Бить честного — чтобы подельнее был, бить вдесятеро жулика — чтобы честным стал. „Благочестивейше и самодержавнейше" били нас, чтобы наши ленивые мозги еще больше поглупели, а революция должна бить направо и налево, чтобы мы поумнели. Только этим, говорит, Россия и спасется. Да и не одна Россия, а и все народы: все, все хорошо взнузданы и всех по иному взнуздать надо! Так вот, родитель: забил меня этот офицер до того, что я все глупел, глупел и поглупел до того, что в петлю залез. А он увидел, вытащил меня из петли и так вздул, — что я целый месяц с постели не мог встать. А когда встал, заворотил мозгами, думать много стал — и хорошо, родитель, думать... Сказал я однажды офицеру: „Спасибо, вам, ваше благородие, зато, что поучили меня, дурака, жить умом и разумом. Били меня; а теперь довольно! Теперь, мол, ежели бить меня не оставите — так и сами своей жизни лишиться от меня можете".

Посмотрел он на меня — поморгал глазам и говорит: „Ишь ты какой стал. Да ну, тебя к чорту: иди от меня от греха подальше". И сплавил меня к другому офицеру — к игроку-то тому, к пьянице, у которого я сам игроком стал. Да только игра мне скоро надоела: играть-то играю, а мозги-то — стронул их хорошенько раз! — ворошатся. Вижу — городские люди, образованные — и то скверно живут, а о де-

ревне как подумаю — о темноте этой несчастной и проклятой — тут уж прямо жуть берет.

Иван помолчал и вдруг так резко встал, что Аким и Зиновия вздрогнули: вот сейчас ринется на них. Но Иван посмотрел на свою пустую полбутылку, задумался на минуту—хотел удержаться и не удержался. Махнул широко рукой—тем типичным русским жестом, в котором и боль, и скорбь, и гнев, и отчаяние, и удаль, для которой и чорт нестрашен, и море по колено—и рявкнул:

— Вина мне надо! Вино на столе,—но какое? Ты, ведьма киевская, его поставила—ты первая его и выпей. Ну, ка! А я уж потом...

Затряслась Зиновия, побелела, но голос был тверд, убедителен и спокоен, когда ответила:

— Что ты, батюшка, Иван Акимыч, да я от роду капли в рот не брала.

— Не брала, а теперь возьмешь. Силой заставлю: весь графин в глотку вылью. Ну,-ка!

Иван взглядом приглашал Зиновию к столу; она не шла. Тогда взял ее Иван, довольно грузноватую, под-мышки и с дивана к столу перемахнул, как пятилетнего ребенка.

— А ну, наливай и пей—богомолка святая, угодница монастырская! Уж больно много вас, такой сволочи, в России расплодилось. Крестьяне-нищие, рабочие-нищие, не все за свой труд куском хлеба сыты бывают, а вас, дармоедов, сколько? — и все сыты, и все деньги сбивают. Страна обжирающихся купцов, попов, монахов, лавочников, дворян, кулаков, в роде моего родителя и всяческих дармоедов и трудящихся нищих — темных, обманутых, озлобленных! Как живем? Вся сытая сволочь в сторонке стоит—с черную непросвещенной себя не смешивает—вот и жили, да и сейчас так живем: и богатые и бедные кусок изо рта друг у друга рвут, сытые—не только голодного не разумеем, а еще радуемся, что у соседа куска хлеба нет! Все любим—обмануть всех, кто только чуть получше нас—в грязи вывалять, кровь чужую пролить, слезы горькие чужие видеть—все любим, никакой костью не брезгуем: одного только не любим, и одним только брезгуем—все, что с нами в грязи и подлости не хочет валяться, все, что почище нас.

Так живем,—как подумаешь—жуть берет. Не дожидаться мы должны, когда нас другие бить будут, а сами бить себя собственными руками.

Я так бил себя, учил себя и считаю, что после этого имею право бить других. И буду бить! Всех! Бар с колокольни за подлость столкнули и сейчас же на колокольню сами лезем: мы, мол, бедные крестьяне-труженики!... Труженики-то вы труженики, а на колокольню лезть погодите: рожу прежде умойте, да приобразьте. А до тех пор колокольня пускай пустая постоит.

По тону речь Ивана была похожа на бешеный бред. И Зиновия, пытаясь освободиться, билась в его руках, как попавшая в силки хищная птица.

Но он держал ее за шиворот крепко, и опять напомнил:

— Ты не рвись. Говорю: наливай и пей. Посмотрим на тебе,—чем гостя хотели принять: вином или зельем.

— Батюшка, Иван Акимыч, говорю: в рот от роду ни капли не брала и взять не могу,—уже трясущимся от страха голосом сказала Зиновия.

— Врешь, возьмешь!—И Иван свободной рукой начал было из графина наливать в стакан вина.

Поднялся Аким. Лицо встревоженное,—жалко Зиновию Двинулся к столу—шаг кошачий. В руке, скрытой за спину—тяжелый медный подсвечник.

Одно только слово крикнул Иван: „На место!"—Но это был такой бешеный, страшный окрик, от которого Аким, оторопев, вмиг очутился на старом месте.

А Ивану, как будто противно стало держать Зиновию,—он ее швырнул опять к дивану, подошел к чайному шкапу. и, открыв его, увидел на нижней полке, ряд бутылок с виноградными винами.

Выбрал одну—с коньяком, осмотрел—не тронута ли печать, порылся в шкапу, ища штопора—нашел, откупорил, налил чайный стакан. И, отпив глотка три, заговорил сразу смягшим голосом:

— Вот, чорт старый: каков запасец-то. Это у непьющего-то! А потом, родитель: если уже вздумали человека травить—так травили бы коньяком. Видно и тут жадность сказалась: в самогонку зелье-то подсыпали—дешевле. Кого хотели обмануть? Я как только вошел, да на стол взглянул,—шик,

блеск!—сразу подумал, что решил ты с своей тайной советницей угостить меня крепче-крепкого: чтобы сразу ножки протянул!

Прошелся Иван по комнате, остановился перед большими стенными часами в футляре. с аршинным, тяжелым маятником; неуклюжая стрелка незаметно ползла на двенадцатый час.

Перевел взгляд Иван с часов на диван; сидели Аким и Зиновия хоть и жалкие, и приниженные, но как крупные хищники, еще не сдавшиеся: зорко высматривали за своим врагом, готовые в каждый удобный момент к нападению.

Подумал Иван: повернись к ним спиной и, если вдруг набросятся на него—кряжистая, еще сильная фигура отца и грузное тело Зиновии—не скинешь их: свалят на земь и замнут.

Захотелось проверить. Придвинулся поближе—в двух шагах от Акима и Зиновии,—и только на секунду, на две побыл к ним спиной, потом быстро повернулся к ним лицом и увидел: мелкой дрожью дрожали руки Зиновии с загнувшимися книзу, как у хищного зверя когти, пальцами—вцепятся и от живого не оторвутся; тихо шевелилась одна нога Акима в жестком лакированном сапоге — точно уж готовилась нанести врагу сильную „подножку".

А на лицах—не сговаривались, а вмиг поняли общий образ действий.

И столько на этих лицах было нещадной злобы,—словно вся веками накопленная в темных мужицких душах, безправных и озлобленных, жестокость и безпощадность вдруг вывила себя во весь рост.

Иван даже пожался всем телом, лучше иметь лицом к лицу врага с оружием в руках, чем такое коварное нападение.

Внезапно под окнами ухарски залилась ливенская гармоника, а затем взмыло поразительно музыкальное, нежное-нежное сопрано!

Пелась какая-то грустная частушка. Затем ливенка ударилась в „перебор" и, пока этот „перебор" тянулся—сопрано легко и свободно какими-то двумя, тремя нотами без слов необычайно красиво сплеталось с звуками гармошки.

Затем опять слова частушки.

Удалялась ливенка—удалялось сопрано, все время удивительно свежо чисто и так могуче, точно не нуждаясь

в передышке, соперничало с гармошкой. И чем ни дальше этот голос удалялся, тем казался неотразимее, прекраснее: издали уж казалось, что это не голос—так велика в нем была музыкальность,—а скрипка под рукой крупного артиста.

И заслушались этого голоса все: и Зиновия, и Аким, и Иван—заслушались с такими постепенно переменившимися лицами—смягшими, грустными, мечтательными, точно кто то им показал какой-то новый обаятельный мир.

И нельзя было поверить, смотря на эти лица, что всего несколько минут назад они искажались такой злобой и ненавистью, которая жаждет крови и смерти врага.

Когда замер где-то вдали последний звук этого чудесного голоса—Иван взволнованно спросил:

— Кто это так поет?

— Настюха, Федотки косого дочь — отозвался Аким и добавил: — Прямо удивление! Никто с роду такого голоса в деревне не запомнит. Куда тебе соловей — лучше соловья! Даст же Бог такой талан...

Федотка косой был здоровым мужиком лет 40 — мелкий кулак, из кожи лезущий вон, чтобы сравняться мошной с кулаками двумя, тремя степенями пониже Акима, — скупой и жесткий на редкость, даже между кулаками: жену свою, мать-старуху и детей хлебом и квасом не кормил досыта, а на работе морил до упада.

Иван успел заметить, ибо нельзя было ее не заметить, эту дочь Федотки — Настюху, девушку лет 18 тоненькую, стройную, хрупкую, с белым, нежным, как фарфор дорогой, личиком, с мягкими, пышно вьющимися льняными волосами — какое-то странное по красоте, нежности и хрупкости для деревни существо: как будто редкий, дивный экзотический цветок чьей-то злой волей перенесенный на суровую почву, где ему ни расцвесть, ни развернуться во весь свой аромат и пышность, а скоро сникнуть, погибнуть и быть растоптанным такими чуждыми ногами, которые хоть отдаленно не почувствуют, что за великую красоту оне растоптали!

...Скорбно покачал головой Иван. И как-будто в том, что скоро погибнет эта Настюха под давлением слепого, темного

жестокого уклада деревенской жизни виноват отчасти будет и Аким, Иван набросился на отца с острой злобой:

— У, дьяволы тупоголовые!.. Так иногда и кажется, что всех бы вас таких — и старых, и молодых, — собственными руками с удовольствием бы перевешал. Я и не знал, что к такой красоте эта Настюха имеет еще такой голос! Обо всем скверном мне до тошноты нажужжали: кто награбил деньгу за войну и, кто от зависти к этим грабителям чуть не дохнет, кто из мужиков, баб, девок, солдаток, парней и с кем не по закону сошелся жить и у кого от этого незаконного сожительства, дети народились... Даже не забыли сказать, что одна девка опозорилась до того, что родила слепого ребенка, а в одном доме семилетний мальчишка с полатей слетел и от этого на весь век горбуном и хромоногим сделался. Обо всем скверном! Обо всем тяжелом. И только никто ни единым словом не заикнулся, что смазливая девченка Настюха за три года развернулась в такую красотку, какую и в городах не часто встретишь, что у этой красотки еще—голос... если вы, черти безмозглые, до сих пор не знаете, что за такие голоса, в городах певиц золотом обсыпают, но нет, ниодин человек, ниодин язык об этом не сказал мне ни слова.

Как-будто только безобразие, пакость, скверность, уродство — „горбуном и хромоногим, мол, на век“—у всех на уме и на языке. Как-будто какая-то вонючая, помойная яма, какие-то горбатые души, которых до могилы не исправишь! И сгинет эта Настюха скоро. Отдаст ее этот Федотка замуж за какого-нибудь идиота, а то и хуже—за гниляка — лишь бы дом побогаче! А этот идиот и гниляк в два, три года Настюху в гроб вгонит, или еще хуже: от красоты останутся —сухие, желтые мощи, а от голоса — будет хрипеть, как хрипят от французской болезни, когда она до горлышка доберется. Не иначе! Где же слабой девке брыкаться, если не девок, а парней женят, так, как ты, родитель, женил меня на бревне! Помнишь ли? Может уж забыл?

Промолчал Аким с видом обиженным, беспомощным: точно имел дело с таким насильником, перед которым бесполезно говорить о своей правоте.

Иван это понял.

— Какого чорта я с тобой много болтаю! — сказал он с острым повелительным раздражением: — Глупо! Я думал договориться с тобой по добру. Не из таких ты, родитель. Вот тебе мои условия: я не прочь с тобой работать, не прочь завести какие-нибудь новые подходящие дела, но для этого, родитель, ты должен сократиться. Теперь времена другие. Жить и давить людей без оглядки, как раньше, теперь нельзя. А ты всю свою жизнь людей давил немилосердно: и чужих, и своих. Кое-что из твоих проделок я узнал и раскусил. Скоро все твои шашни, как ты глупых людей морочил, открою. А пока первым делом ты должен хоть немного очиститься пред Антоном. Я был у Антона, говорил с ним и знаю, что то дело, какое он затевает насчет сибирской тайги — не плохое дело. Антон на тебя работал до войны не мало, про мать с Сенькой и говорить нечего — хуже батраков у тебя жили, а когда они от тебя отошли, — что ты им дал? Ничего не дал.. Подумай: их трое, ты — один. Тут и думать нечего: раз члены твоей семьи хотят жить по-своему и отходят от тебя, то, по справедливости, ты должен был бы разделить, родитель, все твои деньги и имущество на пять ровных частей и три части отдать им, остальные две — на себя и на меня. А ты, что хотел дать? Самое большое, на что ты пошел — предложил Антону 50 тысяч с тем, чтобы он жил не по-своему, а по-твоему. А я думаю даже, что предложил ты деньги на словах, сгоряча, а на деле — одумался бы потом и не дал. Ну а мать, а Семен — их чем ты вознаградил за работу тебе? Об этом ты даже и подумать не догадался. Пожертвовал на колокол две тысячи — пустил пыль в глаза глупому народу и успокоился: пусть там где-то два сына и мать, как хотят, так и живут. Дешевенько родитель, рассчитываешься. Я тебе — ни поп: обойдусь подороже... С Антоном еще не опоздано: тронется он в тайгу недели через три — через месяц, и решил я, родитель, твой грех исправить. Не знаю, сколько у тебя денег, но думаю — немало награбил. Вот и отсчитай ты половину своих денег и отвези их Антону. Куда он их будет девать: „на голь-перекатную“ потратит — это не твое дело. В печке их надумает сжечь — опять не твое дело. Твое дело хоть немножко пред сыновьями и матерью очиститься. Вот и отсчитывай половину своих денег и вези им. И отсчи-

тывай по совести: верную половину, а не обманную. Если обманную дашь — я хоть и не знаю, сколько у тебя денег, но, если обманешь — будь покоен с первого взгляда, родитель, по тебе узнаю, что и здесь ты душой покривил. Понял, родитель?

Аким даже привстал и с крайним изумлением спросил;

— Половину... А ты знаешь, сколько будет, ежели я верную половину отсчитаю?

— Не знаю. Хотя думаю, что не мало.

Аким уже опомнился.

— Нет у меня никаких таких больших денег. Все их убил я на дрова, а над дровами-то кто теперь хозяин? Пусть тот за меня пред Антоном и отчитывается.

Взглянул Иван на отца: лицо у Акима такое спокойное, точно с него требуют такую нелепую несообразность, над выполнением которой и задумываться не стоит.

— Ну, ну... родитель...—покачал головой Иван и тоже спокойно добавил; — хуже, родитель, будет, если меня не послушаешь. Даю я тебе неделю сроку, и, если ты в эту неделю не одумаешься пред Антоном, тогда родитель пострадаешь от меня не половиной своих денег, а всеми деньгами. Докопаюсь я, где они у тебя схоронены, отберу все. Это уж будь покоен: докапаюсь до твоих капиталов. Помни, родитель, не шучу! Неделю сроку!

Спрятал Иван в карман недопитую бутылку с коньяком, шагнул было к выходу, но вернулся — вытащил из шкафа бутылок шесть вина и, уходя, бросил насмешливо:

— Ты ведь, родитель, не пьющий... А насчет всего остального — посоветуйся со своей тайной советницей. И не забудь, слова на ветер не бросаю!

Ушел Иван, а Аким с Зиновией, действительно „советовались“ до самого утра.

ГЛАВА XIX.

И началась с этого дня „работа“ отца и сына.

Аким действовал возбужденно, лихорадочно, собирая к себе кулаков не только своей деревни, но и соседних сел и деревень.

Каждый день до глубокой ночи у него в доме шли переговоры секретные, вырабатывался план действий.

С осуществлением этого плана действий надо было спешить, ибо Иван в свою очередь тоже не дремал. Он все дни и ночи проводил в деревне и никогда деревня не была так возбуждена, как в эти дни.

Все солдаты — фронтовики, даже и те двое, которые чуть не поплатились жизнью в борьбе с кулаками, подняли голову, об'единились около Ивана и действовали, подбивая деревню на разгон старых „эс-эровских“ комитетов и на избрание нового совета из „большевиков“.

От слова „большак“ шел гул разговоров по деревне: говорили в каждой избе, около избы и, наконец, большими скопищами около пожарной стойки, — постоянное место сходов.

Деятельность „большаков“ происходила у всех на виду, деятельность Акима и кулаков — замкнутой в четырех стенах. И в эти замкнутые стены сведения о том, что происходит „на виду у всех“, приносила Зиновия. Она шныряла по деревне с утра до ночи, выведывала каждый шаг Ивана, предостерегала Акима, попа и всех прочих кулаков, чтобы они действовали как возможно осмотрительнее, имея такого врага, как Иван.

Зиновию не смущало, что мужики охотно слушают Ивана и переходят на его сторону — ее смущало и пугало то, что долговязая фигура Ивана сделалась любимой фигурой чуть не всех баб в деревне.

Слово „большак“ бабы попрежнему не любили и на убеждения Зиновии не слушать „проклятого большака“, как Иван, бабы отвечали:

— Ну, какой он „большак?“ Он и сам говорит, что он не большак. Ловкий он, складный и умный. Обо всем правильно понимает.

Упирая на этот факт, Зиновия настаивала пред попом и кулаками, что если уже итти против Ивана, так итти наверняка, ибо иначе дело может кончиться плохо. Если на слова Ивана поддаются не только мужики, но и бабы, — это по мнению Зиновии значило, что Ивана трудно победить. А попы и кулаки только усмехались: при чем тут глупые бабы?

А Аким об Иване без бешенства слышать не мог. Никак не мог Аким понять, как он так позорно струсил в последнюю встречу с Иваном. Когда Аким припоминал, как он так легко дал Ивану обезоружить себя, а потом так унижать себя, когда Иван швырял его, как щенка, — Аким готов был рвать волосы на себе. Не видя Ивана, Акиму казалось, что если бы его захотели обезоружить десять человек — то этим десяти не удалось бы это так легко, как удалось одному Ивану.

И Аким со страшной злобой ждал дня, когда можно с Иваном свести счеты. Эта злоба выросла в Акиме особенно сильно после того, как Аким с'ездил в город на дровяной склад: там его, действительно, как говорил Иван, встретил такой здоровенного вида „дядя“, который с Акимом и говорить не пожелал. При первом заявлении Акима, что он над дровяным складом хозяин, а не сын его, „дядя“ молча встал из-за стола, на котором занят был ведением приходо-расходной книги, и двинулся к Акиму с явным намерением, без всяких разговоров выбросить Акима со склада.

Аким поспешил убраться. Подумал было заглянуть на ломовой извоз, но побоялся: может ведь и там ждет такая встреча.

Захват дровяного склада и ломового извоза таким образом казался Акиму дневным грабежом и торопил Аким попа и всех кулаков, чтобы поскорее приблизить тот день, когда над всеми „смутьянами“ деревни можно учинить „расправу“.

Но поп, кулаки и комитетчики оттягивали этот день, накопляя больше сил и придумывая все больше и больше лжи, обмана, клеветы для того, чтобы разом разбить всех „большаков“.

И назначили этот день тогда, когда тянуть еще уже было нельзя: в четверг разнеслась весть по деревне, что в воскресенье на место комитетчиков будут выбираться новые лица.

А в пятницу поп объявил, что на источнике, который находился посреди деревни, в воскресенье он совершит молебствие о ниспослании небом православному люду урожая.

Удивились мужики: такие бывали годы, когда посевы от засухи угрожали погибнуть — теперь же дожди выпадали обильно и урожай обещает быть высоким.

Но решили все-таки, конечно, что не итти на такое молебствие нельзя.

Наступило воскресенье.

Отслужил поп обедню. Вдвое больше, чем обычно по воскресеньям, было в церкви народу. После обедни с хоругвями и иконами поп и молящиеся направились к источнику, где уже собралась вся деревня.

Торжественно поп служил молебствие и, как всегда в таких случаях, горячо молился деревенский люд. А по окончании молебствия, поп повел речь о том, что хотя сейчас и хорошие виды на урожай хлебов, но пусть православные христиане не забываются: урожай еще не снят, его еще может сгубить засуха, а если не засуха — то дожди не во время, градобитие, нашествие саранчи.

Пусть не забываются православные христиане даже и тогда, когда урожай будет благополучно снят и запрятан по амбарам: разгневанная кара Божья сможет настигнуть и тут — случится пожар при сильном ветре и не спасут хлеба от огня никакие амбары.

А кары Божьей на русскую землю ждать надо, ибо идет по русской земле великий непорядок — дети не почитают отцов, разные злонамеренные молодые по возрасту, лица не слушают стариков и хотят установить свои порядки, от которых добра ждать нельзя.

Слушали мужики и бабы жадно, со страхом — как всегда, когда в темных деревенских душах будили суеверие, пугая гневом грозного Бога.

И когда поп увидел, что напугал достаточно, он остановился, немного помолчал и продолжал с особенным ударением:

— Знаете ли вы, православные, кто над нами сейчас царствует, кто нами правит? Вместо богоданного государя, который сейчас принимает мученическую жизнь в заточении, которого хотят уморить голодом и жаждой, нами правит сын кабатчика Ленин, да жид Троцкий. Этот Троцкий в немецком городе, в Берлине ваксу продавал, а Ленин сапоги чистил. Вот кто они были раньше. А теперь они над нами царствуют, Россию губят: продали ее немцам. И вконец погубят, если весь православный народ не встанет на свою защиту.

ГЛАВА XX.

Ахнули мужики и бабы: очень уж всех поразило, что правят Россией два таких человека, из которых один ваксу в Берлине продавал, а другой — сапоги чистил.

Заволновался народ, загудел, а те, кому это волнение было на руку, з в толпе, умело подливая масла в огонь.

Стали слышаться выкрики, что предполагаемый сегодня выбор совета, на месте комитетов не только следует приостановить, а поучить еще хорошенько тех, которые за этот совет болтают, что не могут „большаки“ быть достойными доверия, если главные правители из „большаков“ были в прошлом такими ичтожными по профессии людьми.

Слышались и другие голоса, предостерегающие не принимать скороспелых решений, напоминающие, что не всякому слуху надо верить сразу: мало ли было случаев, когда народ одурачивали?

Но такие голоса слышались все реже, слабее, неувереннее, а голоса противников — настойчивее и наглее.

Поп стоял в кучке кулаков и потирал от удовольствия руки; еще не все сказано — сделано только начало, а уж у народа такое приподнятое настроение!

Что же будет, когда выполнятся все намеченные номера?

А номеров предстояло впереди еще не мало: Должен был выступит Аким, потом кулаки.

Оглядывал Аким этих кулаков: человек 40 — и народ большей частью все ряжистый и решительный. Сложить силу этих кулаков с силой кулаков местных, прибавить несколько десятков одураченных мужиков из бедноты — выйдет сила такая, которая быстро раздавит какую-то там жалкую кучку, человек в 15 — 20.

Обо всем Аким подумал, все предусмотрел. И надеялся, что успех л жен быть полный.

Сиял улаки и местные и из других сел и деревень. План был разработан широко: решено было начать искоренение большевистской заразы с этой деревни, а потом перекинуть на соседние.

Не сиял только один Аким. Он был мрачен, зол на себя за то, что не организовал такого денька раньше: тогда бы и не было тех унижений, какие он претерпел от Ивана.

А вместе с тем Аким был очень доволен тем, что то, что сегодня должно произойти, разработано его головой. Не только комитетчикам и кулакам он указал, как им действовать и что говорить, даже поп плясал по дудке Акима: басню о том, что Троцкий в прошлом — торговец ваксой, а Ленин — чистильщик сапог, Аким слышал в городе, сам в нее не верил, но попу передал с тем, чтобы поп непременно начал с этой басни.

И теперь, когда Аким видел, что эта басня сильно ошарашила темные деревенские головы, на его лице резко проступало кичливое, злое самодовольство, что он умнее всех.

Успех предвиделся полный. И даже легче, чем предполагался.

Приглашая кулаков из соседних деревень, Аким имел в виду, что солдаты-фронтовики во главе с Иваном окажут отчаянное сопротивление, что могут некоторые мужики взять во внимание, что борьба ведется с людьми неглупыми.

А вышло — враги оказались глупее, чем Аким думал. Ни Иван и ни один солдат не явились ни в церковь, ни на молебствие. Было известно кулакам, что Иван и все остальные „большаки" собрались в другом конце деревни в одной избе и обсуждают там, как и кого им сегодня провести в Совет.

И ликовали поп и кулаки, что победа дастся им легче, чем они ожидали: — будь бы Иван с своей кучкой на молебствии, он бы и кучка его несомненно, с первых же шагов попа и кулаков стали оказывать противодействие; теперь же, безпротивной стороны, было совсем легко настроить толпу и повести ее на зверскую расправу.

Слушали кулаки и поп, как все возбужденнее галдит толпа, переглядывались между собой, усмехались радостно и коротко бросали:

— Так-так... Хорошо!

— Ну, и дураки!... А туда же: мы большаки...

— Впрямь дураки. Сидят там и ждут, когда их голыми руками можно будет взять.

— Чаво там... Вот как народишка побольше разгорится— сразу всей этой сволочи крышку хлопнем...

— Да уж хлопнем! Так хлопнем, что которые живы останутся—детям и внукам закажут „большаками" называться.

А был мягкий, ласковый, ярко-солнечный весенний день, какие бывают только в конце апреля и в начале мая, день, когда все живущее, от человека до крошечной букашки, тепло, с тихой радостью пригревается под солнцем.

Вокруг источника, сплошным кольцом стояли липы, ветлы, березы—все деревья подернулись молодой, по-весеннему яркой и нежной зеленью, на всех деревьях бухли и лопались миллионы новых пахучих почек и с веселым, как-будто пьяным, гомоном и пением в честь весны, бойко скакали по веткам сотни всяких мелких пичужек.

А в высоте, над деревьями, в чистом, прозрачном, голубом небе стремительно носились тысячи галок и ворон и, ни как осенью—мрачно, протяжно, зловеще, уныло, отрывисто,-безумно и взволнованно слали на землю свое бесконечное: кар, кар, каррр!

Только люди, как-будто, не чувствовали всей прелести и радости этого весеннего дня.

Шумела противной, резкой, назойливой галдой возбужденная до красноты, до пота толпа, злорадно ухмылялись кулаки, видя, что их старания к тому, чтобы в этот день пролилась кровь неугодных им лиц, не пропадут даром.

Кулаки в виду отсутствия противников даже решили ради экономии времени сократить четыре выступления: выступит еще раз поп, потом Аким, за Акимом председатель земельного комитета, а затем два-три кулака из соседних деревень чтобы полнее убедить толпу, что везде эти „большаки" стоят всем поперек горла.

Поп уже замахал рукой, давая толпе знать, что он вновь хочет говорить. И толпа начала было стихать, но потом всколыхнулась и зашумела еще сильнее: к источнику не спеша приближался Иван.

В руках у него был тонкий, белый, очищенный от коры ивовый прутик и помахивал он этим прутиком так вольно, беззаботно, как-будто шел на прогулку, наслаждаясь хорошим днем, а не на борьбу со скопищем кулаков—страшной язвой

всех русских сел и деревень, язвой темной, коварной, жестокой, не знающей чувства пощады.

Изумились радостно кулаки. Они бы не удивились, если бы Иван явился с кучкой своих единомышленников: взять эту кучку было бы нелегко, так как все солдаты, возвращаясь домой, понатащили с собой оружия. Появление же Ивана одного, первого главаря—этого кулаки никак не ожидали. И пронеслось тихо между кулаками:

— Ошалел, штоль, башкой он совсем. Идет, красуется—будто о двух головах...

И добавил еще кто-то иронически:

— Ну, ну, ерой!

Иначе почувствовал себя Аким. Вид сына с прутиком, когда тут не спасла бы и огромная дубина, так подействовал на Акима, что он сразу понял, что не боится он сына, когда его не видит, а когда сын налицо—он боится его страшно.

И чтобы укрыться от глаз Ивана—Аким невольно юркнул в самую гущу кулаков.

Подошел Иван. Толпа стихла. Было видно, что ей понравилось—и прутик в руках Ивана, и его веселое, совершенно спокойное лицо, а больше всего то, что он пришел один, зная, какую кучу открытых врагов против себя имеет.

И в тишине весеннего дня, так ласково, тепло, радушно подходяще к этому весеннему дню,—приветствовал:

— Здравствуй, честной народ! С праздничком!

И дружный хор мужских и бабьих голосов приветливо ему ответил:

— Здравствуй, Иван Акимыч. И тебя—с праздничком!

Оглянулся Иван—и на толпу, и на попа, и на кулаков,—улыбнулся весело, плечами пожал так, словно большая на плечах лежала тяжесть, а он эту тяжесть сбросил как соринку—и сразу перешел к делу:

— Честной народ, я хоть здесь и не был, а знаю, к чему вон та кучечка гнет! Иван прутиком указал на кулаков: такая публика спит и видит, как бы всем большевикам печенки отмять.

В толпе раздался взрыв смеха—и больше бабьего.

— Честной народ, сегодня назначены выборы в новый Совет. И выборы сегодня будут.

— Это еще увидим—будут ли? злобно крикнул какой-то кулак.

— Будут!—убежденно подтвердил Иван—довольно поцарствовали комитеты, в которых одни только мироеды засели.

— Ну, и тебе, голубчик, не засесть!—послышалось из кучки кулаков.

— А почему ему не засесть?—выкрикнула высоким, сильным голосом, стоящая неподалеку от Ивана красивая девка:—кто яровых семян на всю деревню дал? Комитетчики дали? Его отец, Аким Петров, дал бы? А он дал. Вот его в комитет и посадим. Он больше пользы принесет.

— Больше!—вдруг подхватили десятки девичьих и бабьих голосов—его и посадим!

Откуда-то вынырнула Зиновия, остановилась впереди кучки кулаков и в ее взгляде, устремленном на девок и баб светились ненависть и отчаяние. Крикнула и она:

— Чего, мокрохвостки, орете? Вашего ли ума дело? Пусть мужики говорят,—а вы помолчите!

— Сама молчи! У кого в любовницах-то на старости лет состоишь? Все ведь знаем!

— Как сами б..., так и других б..., считаете!—огрызнулась Зиновия.

Бабы и девки оскорбились и подняли такой визг и шум, грозя Зиновию разнести „на кусочки"—в пору уши затыкать.

Мужики смущенно смеялись, кулаки были вне себя: бабий скандал грозил все их планы превратить в ничто.

Поп замахал руками, стараясь прекратить шум, но его не слушали. Тогда, с веселым смехом замахал прутиком Иван, и бабы, хоть не сразу, но все-таки угомонились.

Поп было заявил:

— Православные, прошу не шуметь! Дайте слово держать.

Но Иван его оборвал насмешливо:

— Одну минуту, батя!—и обратился к толпе: вот что, честной народ... Тут сейчас меня будут судить—вон сколько моих судей-то. Даже отец мой—хоть он и прячется, а я его вижу: и он в моих судьях! Их много, а я—один. Мое дело правое и я не побоялся прийдти один. Мои судьи думают, что они меня судить будут, а я думаю, что и меня, и моих судей весь честной народ судить будет. И вот, чтобы никто от суда народного не ушел, прошу весь народ и меня, и

судей моих, и попа—он тоже мой судья—всех окружить и не пускать.

Эта мысль очень понравилась толпе и с шумом, со смехом толпа быстро стала окружать Ивана, попа и кулаков.

Послышался голос Акима, он крикнул:

— Што за глупость! Окружить? К чему эфто надо?

Кто-то ему из мужиков ответил:

— Ага! Трусите? Окр-ружай!

Через три минуты поп, кулаки и Иван оказались замкнутыли в таком плотном кольце человеческих тел, сквозь которое прорваться было не легко.

— Ну, честной народ, слушайте, как меня и моих товарищей судьи будут обвинять!—заявил Иван с такой улыбкой, точно все происходящее было для него вроде пустого балагана: а потом меня послушаете.

Первым решил выступить против Ивана поп. Он поставил против Ивана такой „фактик", про который думал, что таким „фактиком" можно сразу убить и не такого бобра, как Иван. И приготовился было говорить поп, но толпа зашушукалась, потом выделила из себя вперед одного мужика, который обратился к Ивану:

— Тут, Иван Акимыч, прежде, чем суд заводить, надо одну загвоздку раскусить. Говорил нам тут батюшка, што наши правители-то главные над всей Россией—ну, Ленин там, потом эфтот Троцкий,—уж больно быдто бы они плохого звания. Ленин-то быдто этот в ерманском городе... как он город-то называется... забыл!.. так вот в этом городе Ленин сапоги чистил, а Троцкий этот ваксу продавал... Как это, Иван Акимыч, верно ли?

Махнул Иван рукой—и так махнул, что толпа сразу поняла, что ее одурачили—поняла и нахмурилась.

Иван видел, что можно и не говорить, но усмехнулся и сказал:

— Это так же верно, если бы кто-нибудь мне сказал, что батя наш духовный вместо 25 рублей за венчание берет только пять, или за похороны вместо 15-20 рублей берет трешку. Это так же верно, если бы кто-нибудь мне сказал, что мой почтенный родител, Аким Петров, никогда в своей жизни не зажулил ни одной чужой копейки. Вот как это верно! А по настоящему—верно вот как: эти Ленин да Троцкий ученые люди. Насчет учености наш поп им в подметки не годится. Вот насчет германских городов—это верно. Там они жили, да только не ваксу продавали и не сапоги чистили, а наше правительство царское чистили: книжки про правительство наше писали,—что не дает, мол, оно ходу русским крестьянам и рабочим. И попадись бы они в руки царскому правительству—так в пять минут их на висилицу бы вздернули. Вот они какие люди.

Долго не могла толпа успокоиться от смеха, а когда успокоилась—понял поп по лицам толпы, что его положение и положение кулаков начинает принимать скверный оборот. И на Ивана взглянул иначе: бобер-то поопаснее, чем казалось.

Но на фактик все-таки надеялся твердо и выступил против Ивана решительно.

— Дошло до нас, Иван, что и ты с разными там разбойниками и нехристями-жидами этот Кремль дырявил пулями и бомбами. Правда ли это?

Ничуть не изменился в лице Иван — так же весел и спокоен; только в глазах вспыхнули синие, как цвет каленой стали, огоньки.

— Да ты голоса-то не повышай батя!—сказал он:—ни к чему это. Отпираться я не думаю. Верно - стрелял я в Кремль. Нельзя было не стрелять в Кремль, когда там всякая сволочь засела. И тоже стреляли оттуда из Кремля—да по каким людям: по чистым людям. Около этого Кремля за народ, за землю и волю народу чистых людей не мало полегло. Офицер, например, мой, у которогоя в денщиках был и который меня человеком сделал. Молодой такой был, всего 25 лет, а лучше самого хорошего отца родного мне был. Богатый был, денег много от родителей получал, а сам иногда голодный сидел: все бедным раздаст. Тихий был человек, мухи не обидит, а в Кремль все-таки также стрелял, и голову там свою положил. Я не баба, а над ним, мертвым, хуже всякой бабы выл. Что же, неужели такие люди даром, зря свою голову кладут?

Видели кулаки и поп, что начинает толпа слушать Ивана внимательно и зашумели было кулаки, а поп захотел опять выступить. Но ему не дали. Иван только взглянул на толпу

да рукой на кулаков повел — толпа его поняла и сотнями мужских и женских голосов властно потребовала:

— Не мешай ему... эй, не мешай!

— Дайте ему говорить!

ГЛАВА XIX.

Стихли кулаки: ясно им было, что если им продолжать затыкать шумом рот Ивану, пойдет толпа стеной на кулаков — и не выдержать им этой свалки.

Продолжал Иван, обращаясь главным образом к попу:

— Я тебе, батя, не те два несчастных солдата, которых по твоей милости чуть не убили. Что ты долбишь — Кремль! Кремль — это камень. Ну, разбили немного этот камень. Но ведь камни люди делали, Кремль из камней люди клали — и значит, те же люди могут на место одного попорченного Кремля — не только поправить этот Кремль, но и сколько угодно новых таких Кремлей сделать.

— Что ты говоришь?! — с лицемерным ужасом воскликнул поп. — Что ты говоришь, несчастная заблудившаяся овца — назову тебя по-евангельски... Знаем и без тебя, что это камень; но какой камень — камень святого места!

— Да ты, батя, не пори ерунды-то. Как это у вас там в священном писании говорится: не свято место человека освящает, а человек свято место делает. Так что ли? Хорошо не помню. А ты бы вот, батя, если бы хорошим священником был, если бы не за мироедов стоял, а за бедных людей, то вот и сказал бы людям, что человек дороже камня, хотя бы и кремлевского. Кремль можно поправить, а вот тех людей, которых „благочестивейший и самодержавнейший Николай II расстреливал и вешал - этих людей вернуть можно?

Гулом одобрения ответила толпа:

— Так! Верно! Правильно! Вер-рно!

— А какая-то баба отдельно выкрикнула:

— Так и надо, Иван Акимыч его, долгогривого чорта, чтобы он нам головы не морочил! Кроме мороки мы от него никогда ничего не видели. Воры-помещики и становые были — он с ними против нас шел. Никогда защиты от него не видели.

— Какая там глупая, бабья голова орет? — обозленно сказал поп, выискивая в толпе глазами эту бабу. — Не думайте, православные, что я побоюсь сказать правду: сан святой на себе имею и за правду всегда постою. Теперь, с свободой-то всякая голь перекатная голову поднимает, а что эта голь народу может дать? А помещики, бары, давали: и работишку всякую, и помощь, и о вере Христовой ревновали... Кто церкви-то на Руси возвел - голь, что ль, всякая? Бары возвели, И пусть там всякие пустозвоны да пустоболты бар хулят! Что ничего, мол, бары хорошего народу не дали, кроме плохого, а я скажу — не правда, дали: церкви возводили, богадельни для сирых и убогих строили, школы для просвещения народа заводили, работу бедным давали и хлебом голодных кормили! Кто школу у нас в деревне выстроил? Церковь святую кто помог возвесть? Бывший помещик наш! А теперь церкви, богадельни, школу, работу — кто нам даст? Не голоштанные же советы собачьих депутатов, которые в советы затем только и лезут, чтобы карманы набить!

Закончил поп свою речь с довольно большим подъемом и настроение толпы заколебалось, раздвоилось. Больше всего подействовало на крестьян то, что в словах попа была некоторая доля правды: в постройке школы и в постройке небольшой деревянной церкви лепта помещика действительна была.

Но лепта небольшая: на постройку четырехклассной, так называемой „министерского типа“ школы была отпущена правительством царским субсидия — к этой субсидии помещик прибавил свою лепту строительным материалом.

Также и с церковью. Возвелась она на пожертвования, собираемые в течение долгих лет — и сюда прибавил помещик свою лепту строительным материалом.

Но эти лепты в свое время обставлялись так громогласно и торжественно, что у крестьян после осталось впечатление что за создание школы и церкви они всецело обязаны доброте и старанию помещика.

А вероятнее всего, что никакой лепты помещик на создание школы и церкви не принес: весь строительный материал был куплен из леса того же помещика.

Темные мужики всего этого, конечно, не учли, а если некоторые и учли, то за давностью времени забыли.

Но Иван не забыл и напомнил попу и крестьянам.

— А из чьего лесу школа и церковь строились? А ну-ка, батя, припомни, и вы, честной народ, припомните. Ведь из помещичьего леса? Не вернее ли—не хотел помещик нажить на таком деле и, чтобы пыль в глаза деревне пустить, перевел прибыль на строительный материал и пожертвовал его? Я думаю, что так и было.

И опять вся толпа стала на сторону Ивана.

— Так, верно! —послышались замечания.

— Верно, правда! Тады еще некоторые старики так смекали. Тонко, говорили, помещики добрые дела устраивают: лепта им ни гроша не стоит, а славы на миллион себе в народе напустят.

— Правильно, дядя!—подхватил Иван.—А еще правильнее насчет бар вот как будет: при крепостном праве за наши труды бары нас на конюшнях драли розгами; после крепостного права розга была отменена, да отменили-то только на бумаге: драли нас лет двадцать и после крепостного права. Потом драть стало нельзя, но мозолей и горбов на утробу бар мы, крестьяне, еще лет сорок носили! Теперь и этого нет: будем набивать мозоли и горб для себя да вспоминать, сколько хорошего нам сделали бары. А вспоминать придется долго: я знаю, как много по деревням и селам больных французской болезнью. Кто ее в Россию занес—ведь, мужики по заграницам не ездили? Бары ездили, благо мужички на них работали,— вот в благодарность бары из-за границы и привезли подарочек! Сами от этого подарочка гнили—да не столько, сколько крестьяне: у бар за деньги докторов много. А у крестьян докторов нет. Может, когда-то и будут, а пока что—дети наши и внуки погниют не мало. Попомним господ за этот подарочек! Вот, батя, сколько хорошего нам бары дали!

Нахмурилась толпа, поникла головами и ни звука: в очень уж больное место попал Иван, много было на деревне больных венерическими болезнями.

Переглянулся поп с кулаками,—понял, что требуют они, чтобы он действовал решительнее и решил действовать. Опять он поднял крест и, наступая на Ивана, грозно спросил:

— Ты вот что, молодчик: в Бога ты веруешь? До меня тут слухи доходили что ты будто похвалялся, что никаких

богов не признаешь. Вот ты мне, нечестивец, и скажи: признаешь, что Бог есть?

— Прежде всего батя, убери крест,—попросил Иван:—не к месту он тут Что ты его так поднимаешь? Так поднимают кресты священники на войне, когда солдат на врага ведут. Уж не считаешь ли ты меня, батя, за немца? От злости ведь не то еще бывает! А насчет Бога, батя—не тебе бы об этом говорить... Я думаю, что Бог-то есть, а жизнь то наша, как курья нашесть: все под нами, батя, загажено! Да и сами мы с головы до ног загажены. И почистить нас некому. Будь бы у нас попы получше—тогда другое дело, Да в том-то вот и беда, что попы-то у нас загажены больше, чем простые смертные!

В толпе раздался такой взрыв смеха, что поп понял, что не он бобра убил, а бобер его, понял, что задуманный кулаками план окончательно провалился и, что теперь самое лучшее — убраться поскорее по-добру по-здорову восвояси.

И с видом укоризны, покачав пред прихожанами головой, что вызвало не смущение и не раскаяние, а еще больший смех, поп вмешался в кучку кулаков, пошептался немного и тронулся к кольцу человеческих тел, прося пропустить его. А за ним готовы были последовать и кулаки и комитетчики: они тоже все поняли, что Иван—один всех их провалил.

И зло все кулаки посматривали на Акима: как-будто за весь провал он один виноват. А председатель земельного комитета даже сказал раздраженно Акиму:

— Ну, и дьявола же ты, прости Господи, народил! Такого ни крестом, ни пестом не возьмешь.

Но уйти так легко кулакам, комитетчикам и попу не удалось.

Ясно было, что знает Иван тайну, как владеть толпой: он не только отклонил от себя гнев толпы, но уже подчинил себе толпу до полного, беспрекословного повиновения.

— Товарищи!—крикнул он—не пропускать ни одного. Меня судили, а теперь что... улизнуть хотят? Гудки!

Теперь мы посудим всю эту теплую компанию. Вон их сколько собралось—волчков этих. Ну, свои еще туда-сюда а чужие зачем слетались? На молебствие что-ли, которое

сегодня попу и служить не следовало? Яснее-ясного, что слетались сюда неспроста. Царя, честной народ, у нас нет, урядники, становые и стражники к чорту полетели, а вот эти мироедчики остались и попрежнему командовать, крутить, вертеть нами хотят. Лежат у нас камешки на дороге немалые, под которые свежая вода не течет, а старая давно загнила и жаб в ней черезчур много развелось. Вот мы их и потащим на свет Божий. Пушупаем их—на какое такое темное дело сюда пожаловали... Выходи ко мне ребята на подмогу десятка три поздоровее.

Кулаки не испугались. Они полагали, что самое худшее, что их может постигнуть, это—провал их замыслов; провал был налицо, что же касается их личной безопасности—на этот счет они были покойны.

Их было не мало и, с грубой, злобной бранью по адресу Ивана и всех крестьян вообще, с угрозами, что посмотрят они „какой такой севодня Совет соберется", и, что покажут они этому „Совету собачьих депутатов, кузькину мать", они заработали локтями и плечами (а в крайнем случае, готовые пустить в ход кулаки) так энергично, что еще бы минуты две и выход из кольца им был бы свободен.

Но подскочил Иван. И в первый момент кулаки даже не поняли, что собственно происходит: они тупо, как испуганное стадо скотины, шарахнулись назад.

Это Иван осадил их видом браунинга. Он не ждал, когда медлительные мужики выделятся из толпы ему на подмогу.

Не опомнились еще кулаки хоть немного, а Иван уже действовал дальше. Уставив на первого попавшегося кулака браунинг, он отчетливо сказал:

— Считаю до пяти. И если, когда скажу „пять" и ты не сдашь мне своего оружия—пуля тебе в лоб! Считаю: раз, два... три... четыре...

Кулак поспешно выбросил револьвер.

— Подбирай! скомандовал Иван уже идущим на подмогу мужикам.

И перевел браунинг на рядом стоящего кулака, который сразу взмолился:

— Никакого оружия не имею!

— Обыскать!—командовал Иван и перешел к третьему—выбросил оружие и этот.

Пошли—четвертый, пятый, шестой, седьмой. У шестого оружия по его словам не было, а когда обыскали—нашлось.

— В зубы ему хорошенько!—скомандовал Иван, переходя к следующему.

На счет „зубов" какой-то помогающий из мужичков постарался „Хляссь!"—раздалось в воздухе так четко, что даже странно было думать, что это от удара кулаком. Иван дошел не далее десятого: все остальные были так ошеломлены, что сами побросали оружие. И добросовестно побросали: при обыске уже ни у одного кулака оружия не оказалось.

По быстроте и по дерзости действия Ивана были действиями из ряда вон выходящими. Никто из кулаков, заглянув Ивану в лицо в то время, когда он отсчитывал „раз... два... три... четыре..."—не сомневался, что после слова „пять", действительно последует пуля в лоб.

Набралось револьверов штук до 30: ноганы, браунинги и еще какой-то заграничной конструкции—австрийские.

Взял Иван у одной девки фартук, собрал в него оружие и со смехом спросил:

— Ну, как, честной народ, ловко я их? А?

Гулом восхищения ответила Ивану толпа.

— Так-то лучше... Разве не темное дело затевали (Иван кивнул головой на приниженных кулаков), если столько оружия с собой набрали?

— Теперича смекаем, куда гнули...—отозвался какой-то мужик в толпе.—Всем, кто поперек дороги богатеям стоят кровь пустить хотели.

Забожились кулаки, заклялись, что ничего подобного и в мыслях не имели.

— А револьверты зачем?—ехидно спросила одна баба.

Принялись кулаки уверять, что „револьверты" так себе... просто для самозащиты. Толпа слушала, усмехалась и сыпала словечками, от которых кулакам ждать добра не приходилось.

Из всех кулаков более всех подавлен был Аким. Он был похож на человека, который, пережив потрясающий испуг, так в этом испуге и застыл. Он как-будто даже не созна-

вал,—где находится, что вокруг него происходит: отделился от своей компании, стоял в сторонке один и не слушал, что говорится. Взгляд у него был бессмыслен, растерян, лицо искажено, точно от сильной физической боли.

В сторонке от кулаков стоял и поп и с таким видом, точно он не примыкает ни к толпе, ни к кулакам: он здесь духовный пастырь, для которого его паства едина—нет для него в этой пастве ни козлищ, ни овец.

За личную свою безопасность он был совершенно спокоен: надеялся, что сан его, облачение священника, спасут его физическую неприкосновенность. Раза два, три он обращался к Ивану с просьбой избавить его от оскорбительного положения пленника, как крайне неподобающаго для духовного лица, но, получив отказ, внешне как-будто терпеливо, со смиренной скорбью священнослужителя ждал, когда это заблуждение его паствы кончится.

Помучив кулаков и попа неизвестностью, а неизвестность, видимо, сильно томила кулаков—у многих на лицах ясно было выражено, что лучше уж плохая развязка, чем это ожидание,—Иван, наконец, приступил к заключительному действию.

— Вы у меня, пока я буду говорить,—не пикните!—пригрозил он кулакам.—А не то скулы у вас на бок поедут. А вы, весь честной народ, послушайте, как вас мироеды проводят. Самый большой мироед у нас—мой родитель,—вот про него я вам и поведаю. Все его выходы, все его лазейки я постарался узнать. Хитрую паутинку мой родитель плел, сразу-то не раскусишь,—где конец, где начало? Слушайте-ка вот, честной народ, а потом подумайте, что гусь свинье никогда товарищем быть не может. Как бы свинья с гусем хороша и ласкова ни была,—в конце-концов у свиньи одна заботушка, одна думка: как бы гуся словить и слопать! Так и мироеды деревенские с беднотой действуют.

И стал Иван раскрывать карты Акима. Издалека начал: с мельниц, с кузницы. На мельницах глупую мельничиху накрыл. Купил за грабительскую цену, а крестьянам пыль в глаза пустил, что не из-за наживы мельницы поставил, а ради интересов крестьян. Припомнил, как двести пудов муки на фронт солдатам Аким торжественно пожертвовал,—

блеснул, мол, своей добротой, а на самом деле разом двух зайцев убил: уважать себя заставил и всякие подозрения отклонил от себя в том, что вез муку с мельниц не солдатам на фронт по справедливой цене, как слух пустил, а на самогонку изводить. Рассказал, что хоть и с трудом, но узнал в городе местечко, куда Аким муку сплавлял—маленький, но настоящий винокуренный завод,—а оттуда самогонку получал и возил ее из города летом в тарантасе, а зимой в санках. А в тарантасе, как и в санках, специально для этого отделения устроены: так ловко—скоро не заметишь.

Дальше указал Иван, что самогонку у Акима брала по ночам Зиновия и растаскивала тем, кто ей в деревне торговал.

Чист Аким—комар носу не подточит, а денежки какие загребал на самогонке?

Ловок Аким в том: сам в комитеты не полез, а своих людей насажал, и свои люди старались для Акима: деревенских самогонщиков городским комиссаром запугали для того, чтобы за Акимову самогонку все дороже и дороже драть.

Предложил Иван проверить—допросить двух солдаток и мужика, торгующих Акимовой самогонкой—у кого они брали эту самогонку?

Хватились солдаток и мужика—были здесь, но когда речь зашла о самогонке—исчезли.

Засмеялась толпа.

И так дальше шаг за шагом объяснил Иван ясно, толково все махинации Акима, включительно до того—из каких соображений две тысячи рублей на колокол жертвует, роль попа обрисовал и о тех двух солдатах „большаках", которых чуть не убили—упомянуть не забыл.

Слушала толпа жадно, то поражаясь, как тонко Аким свои дела устраивал, то удивляясь, что в сущности все так просто, понятно, а вот никому в голову не приходило что Аким, поп, комитетчики и остальные все кулаки работают против крестьянской бедноты одной „шайкой-лейкой".

Слушая, особенную страстность проявляли охами, ахами, восклицаниями, замечаниями бабы и эта страстность отра-

жалась на мужиках: все молчаливее и угремее становились мужики.

И когда Иван кончил, поняли кулаки по настроению толпы, что дай Бог, если они живыми останутся. И кинулись было к Ивану просить, чтобы он предотвратил расправу толпы над ними. Но жестко ответил им Иван:

— Не могу. Если вы на темном народе обманом где, а где и силой едете, то когда темнота обманы узнает,—что же вас по головке гладить надо? Что сеете, то и жните. Будете, по крайней мере, знать, что от правды, как ни виляй, а все таки не увильнешь. Ложь изворотлива, а правда—хоть и пряма, но колюча: иногда до крови. И чем больше от правды вилять — тем больше крови... Поняли? А если не поняли, то когда вас поучат—поймете.

Затем Иван обратился к толпе:

— Ну, честной народ, теперь расправляйтесь со своими захребетниками, как хотите: как вам Бог по душу положит, как сердце подскажет. Только моего родителя почтенного не трогайте: с ним я сам расправлюсь. А пока я пойду по своим делам, а к 6 часам вечера прошу вас всех на сход. Будем выбирать настоящий народный Совет, а не кулацкий.

И пошел Иван от толпы все с тем же ивовым прутиком и с фартуком, полным оружия.

А толпа шумно, вслед ему рассыпалась в благодарностях за то, что „глаза открыл".

Потом приступили к расправе. И не один, вероятно, кулак пожалел, что не обратили должного внимания на предупреждения Зиновии: как ни странно, но бабы первые кинулись учинять расправу. Они свирепо требовали от мужиков, чтобы всех комитетчиков и кулаков „приканчивать накрепко", но мужики сохраняли благоразумие: били крепко, особенно чужих кулаков, но „приканчивать" не хотели, говоря:

— От печенок сдохнут. А который не сдохнет—может человеком сделается!...

Поп и Аким остались нетронутыми. Мужики их хмуро обходили, но бабы — рук не поднимали, а бранью, унижениями и плевками в лицо, засыпали так,—казалось, что легче попу и Акиму было бы, если бы их сразу убили.

Метались бабы в поисках Зиновии, чтобы и ее „поучить", но оказалось, что Зиновия во-время успела скрыться.

Кончилось тем: часть избитых кое-как уплелись на своих ногах, часть разнесли по домам на руках, а чужих кулаков, которые почти все были избиты до потери сознания, оставили валяться, пока сами не очухаются.

ГЛАВА XX.

Немного пожил после этого Аким—всего только недель около трех.

Старел и слабел он с каждым днем так, точно каждый день для него был тяжелым годом. За это короткое время голова Акима побелела, как у столетнего старца. И действительно, зашел Аким в такой тупик, из которого как-будто нет выхода.

Невыносимым, сплошным безысходным ужасом стала для него жизнь в деревне. Мужики отворачивались от него с молчаливым презрением, но бабы — настолько неутомима была их ненависть,—с ужасом думал Аким, что если бы он мог прожить еще десятки лет – все равно эта ненависть не притупилась бы.

Самая паршивая бабенка, встретив Акима,— считала себя в праве—подопрет руки в боки и пренебрежительно изрыгнет:

— Повесил голову-то? По делам вору и мука. Грабил, грабил, да дограбился: все от аспида такого разбежались, живешь как сыч с одной ведьмой киевской!

И даже дети, встретив Акима, шли за ним кучей со свистом, с улюлюканьем, как над собакой, и криками.—Эй, чужбинник.. Акимка чужбинник!

Чья-то неутомимая рука ночей шесть под-ряд мазала Акимовы ворота дегтем: „И здеся Ирод Акимка чужбинник".

Ночью мазали, а на утро выходила Зиновия с ведром кипятку и косарем — смывала и соскабливала часа два, а на следующую ночь все та же рука выводила все ту же надпись.

У Зиновии, наконец, не хватило терпения мыть и скоблить ворота неизвестно сколько еще времени и надпись осталась.

И когда Аким видел эту надпись, буквы в которой были изображены как-то особенно по безграмотности, противно безобразно, казалось Акиму, что то зло, которое водило

этой рукой—живет в этих буквах и смеется ехидно этими буквами под ним.

Зло чудилось Акиму не только в людях и в этих буквах—оно чудилось ему всюду: за каждым углом, в каждом проходе.

От этого чудящегося зла Аким впал в грубое, темное суеверие, решил, что преследуют его не только люди, но и нечистая сила.

И так жутко по временам становилось от этого решения Акиму, так невыносимо казалось ему его одиночество, что бежал Аким к кому-нибудь из своих прежних соратников,—к кулакам, бывшим комитетчикам, к попу—но и там натыкался на зло.

Все эти бывшие друзья определяли свои отношения к Акиму так: они шли за ним, как за главой, они надеялись на него, как на силу, которая сломит всякое сопротивление, победит все, но он не оправдал их надежд и он виновник всех этих несчастий.

Он виновник того, что их били, виновник того, что они потеряли в деревне всякий вес и влияние, он, наконец, виновник того, что произвел на свет „такого чорта“, как Иван, который всем поперек дороги стоит.

Напрасно Аким говорил, что ведь больше всех от Ивана пострадал и пострадает еще он,—ему с нескрываемой ненавистью заявляли, что знакомство с ним опасно, ибо, если раньше они к нему льнули, как к наиболее денежному лицу, так теперь, знакомство с такими лицами нежелательно.

Не лучше отнесся и поп.

То унижение, которому поп подвергся у источника и которого Аким забыть не мог—для попа прошло как-будто бы совершенно бесследно. Поп уже вел новую линию—подлаживался к крестьянам, а при удобных случаях даже каялся.

И когда Аким пришел к попу, поп хотя и мягко, но тоже сразу заявил:

— А вот, Аким Петрович, это уж нехорошо! Не маленький—должен соображать...

Не понял Аким, но понял поп недоумение Акима и разъяснил:

— А вот то, что ты пришел ко мне. Сынок-то твой каков? Не ожидал ни сном, ни духом не ожидал, что он такой Пугачев!

Теперь время такое—кто палку взял, тот и капрал. И если я с тобой буду по старому хлеб-соль водить — так ведь крестьяне и твой сынок могут меня из прихода выбросить. Не сердись, Аким Петрович, наша дружба должна пока прекратиться. Ни ты ко мне—ни ногой, ни я—к тебе! Если вернутся старые, лучшие времена—тогда другое дело...

Пошел Аким молча от попа, а поп ему вслед и насмешливо и с завистью добавил:

— А я, собственно, не понимаю, свет мой, почему, тебе надо безпокоиться? Тебе на людей плевать можно. Денег наколотил много—живи-поживай!

„Деньги... И тут деньги“—и с горечью и со страхом подумал Аким. Аким даже раз, сам хорошенько не зная—зачем — поехал к Антону. Но Антона он дома не застал. Антон у отходника уж больше не работал—только доживал в его избенке до отъезда.. Захватить Антона дома было трудно: с утра до ночи он где то пропадал по делам. Видел Аким жену Антона, которая взглянула на него равнодушно, видел свою старушку, которая на миг смутилась при виде седой головы Акима; а в следующий уже миг прочел Аким в глазах старухи, что он для нее стал чем-то далеким, чуждым.

И не знал Аким, о чем говорить с старухой, как и старуха не знала.

И почувствовав себя тут с горечью—лишним, ненужным, Аким простился с старухой и только в этот момент она скупо выронила:

— А мы скоро в тайгу едем.

И по тому свету, какой затеплился в старых. много плакавших глазах, Аким подумал, что с тайгой связывает старуха что-то хорошее.

И хотя про себя решил, что в этой тайге надо расчитывать скорее на плохое, но подумалось Акиму, что хуже той горемычной жизни, какую он теперь имеет, уж трудно представить себе что-нибудь и поехал бы он в эту тайгу, если бы ему предложили.

Но ему никто не предлагает, а навязывать себя как-будто лишнего, ненужного, он из гордости не станет.

Увидел Аким и дурака Семена: все тоже довольное, лос-

пящееся от избытка здоровья лицо. Было тут еще два работника и при них Семен, увидев седую голову отца, прямо брякнул:

— Умрешь скоро, папашка! Куда деньгу-то денешь? Есть что ли пред смертью с медом будешь? Так все равно не съешь: облопаешься! Вот, поди, тебе склока-то с ними. Сидишь, чай, над ними и дрожишь: как бы кто не ограбил, как бы кто не ухитил. А я бы на твоем месте, папашка, плюнул на них. Отдал бы их Антону, а он бы им хорошее место нашел. Иванка вон дает Антону, да у Иванки мало. А тебя Иванка сквалыгой называет. А зря, папашка! Развязался бы ты с ними — Антону деньги больше к рукам, он бы им, за мое почтение, голову обломал... Он понимает в них толк, разнесчастные, говорит, бумажки, когда говорит, оне со свету пропадут,—будь оне прокляты... Поехал бы с нами, папашка, в тайгу: посмотрел бы ты, какие тут с нами хорошие люди подбираются! А хорошо, говорят, в тайге: гудет-поет она, рыбы—пропасть, зверья—уйма. А там бы, папашка я тебя и похоронил. Под пихтой! Там бы ты, папашка, может еще годков с десяток протянул. Рыбку бы ловил, с ружьишком бы прогуливался, не жисть, а малина. Кое-что Акиму в Семене понравилось: сознал Аким, что в сущности относился он к дураку очень люто—с самого раннего его детства, с той поры, когда обнаружилось, что не понимает Семен по своей глупости ценности денег, имущества, а поэтому и не может быть отцу хорошим помощником,—но видимо, не помнит Семен всей отцовской лютости к нему, или не хочет помнить.

Когда Семен говорил, что в тайге Аким „может еще годков с десяток потянуть", что там „рыбку бы ловил, с ружьишком бы прогуливался, а потом, когда бы отец умер, похоронил бы его „под пихтой"—в эту минуту в голосе Семена были так же теплые нотки, как-будто отец никогда не чинил ему зла, как-будто, когда отцу теперь тяжело—Семен жалеет его.

И от этих теплых ноток дурака у Акима, как-будто растаял внутри его како-то холодный, твердый, как лед, кусочек в горячие капельки, которые подобрались к горлу и защекотали там, одновременно—и горько и сладко...

Ие ще тем понравились Акиму и „рыбка" и „ружьишко",—когда видел других на такой охоте и сам чувствовал, что и он бы с удовольствием так поохотился, но как-то все за делами, да за хлопотами было некогда,—так за всю жизнь ни разу поохотиться и не удосужился.

А хорошо бы хотя бы и теперь так отдохнуть, поразвлечься, если бы... если бы жизнь наладилась поскладнее!

И представилось Акиму нечто. До войны он имел несколько тысяч, за время войны и революции нажил десятки и сотни тысяч. Ясно стало Акиму, что если бы не было войны, если бы не срывали людей с своих углов, с родной почвы, если бы все оставались сидеть на своих местах, как сидели до войны, то жизнь, понятия, отношения людские, события—все бы оставалось в тех формах, в каких было.

Ясно было Акиму, что Иван и Антон с ним работали бы и до конца его жизни из его воли не выходили бы. И тогда, как и раньше, до войны, Аким думал, что когда он устанет, когда будет стар—он сдаст все дела сыновьям, а сам будет отдыхать с сознанием, что отдых им заслужен, что он для детей поработал довольно, пусть дети одни теперь поработают а он будет—отдыхать в довольстве, почете, в кругу внуков ивнучат...

Но эта... война... И эта... революция... Один сын где-то там на войне по колена в крови ходил, другой — Кремль растреливал и говорит об этом на всем народе так дерзко, как будто бы расстреливал не святыню исконную русскую, а простую кучу камней...

Странные эти времена, когда прежде как будто непадкие на деньгу люди в погоне за наживой охамели и озверели до потери образа человеческого, а другие, как, например, Антон, бывшие прежде любителями погреть около денег руки, вдруг объявляются людьми шарахающимися от денег, как от самого страшного зла в жизни...

Пришла война, грянула революция и разделила людей на два лагеря: на жаждущих наживы и на борющихся против всякой наживы, на алчущих остаться при старых обычаях, порядках, при которых жили сотни лет и вне которых иной жизни не мыслили и на дерзких бунтарей, желающих старую жизнь разбить и опрокинуть...

И странно: бунтарей меньше, а старая жизнь трещит, накреняется, местами уже рушится. Как будто бы не плуг, а огромный плужище, медленно, незаметно в'елся сошником в жизнь и тронулся прежде легонько, с трудом—вот-вот, пожалуй, и остановится; но он не останавливается, а все глубже, все стремительнее разворачивает толщу жизни и в городах и в селах. Он уже страшен: крепка была старая жизнь, сотнями лет как будто бы уже в трудно рушимую целину обратилась, но плуг пашет, пашет уж так быстро, что от старой жизни, от ея укладов обычаев только комья летят.

ГЛАВА XXI.

Ясно стало Акиму, что не очутись он в лагере бешено наживающих на войне и революции сотни тысяч—тогда не было бы у него таких острых осложнений с Антоном и Иваном.

Может-быть, и тогда бы Антон надумал уйти тайгу может-быть, и Иван ушел бы из дому, но тогда бы они ушли смирно, так, как уходят сотни детей от отцов по пословице, что „рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше"; пусть даже ушли бы с Антоном и мать, и Семен, хотя едва ли бы при тех условиях они ушли—остался бы в доме он один, если бы не пожелал примкнуть к ним, было бы ему тяжело, грустно, но совесть его была бы спокойна и никто бы из однодеревенцев над ним не позлорадствовал, а все бы пожалели его, посочувствовали бы ему. Деньги эти—быстро приплывшие благодаря всяким ухищрениям и обманам, сотни тысяч—они, только они, как проклятые, принесли ему столько зла: пуст дом его, все члены его семьи ушли из него, как из нечистого места, и ненавидим он там, на той родной земле, где родился и прожил всю жизнь, всеми от мала до велика.

Вспомнил Аким еще нечто: вспомнил, что не особенно долюбливали его в деревне и до войны, когда он зарился на каждую чужую копейку, вспомнил, что кличка „Акимка чужбинник" пристала к нему давно—десятка два лет тому назад,—но ненависть однодеревенцев того, до-военного времени и ненависть теперь—это что-то такое страшно несовместимое.

Ненависть того времени и ненависть теперешнего—похожи на что-то дьявольское, чудовищное: когда грабил людей на копейки и ненависть была копеечная—звали „чужбинником", но звали не в глаза, а за глаза, не долюбливали, а когда дело касалось серьезных мирских дел, смотрели ему в глаза, льстили и ждали, что он скажет, ибо все считали, что хоть и падок на чужую копейку, а ума у него не отнимешь—первый по уму человек в деревне.

А ненависть теперь? Награбил сотни тысяч и ненависть как будто бы увеличилась в сотни тысяч раз: пусть мужики от него отворачиваются, пусть дети глупые, наслышавшись худого о нем от отцов и матерей, улюлюкают над ним, как над собакой, но что бы бабы, глупые бабы заплевали его так, как заплевали у источника, его, умного человека—можно ли представить себе большую ненависть, большее оскорбление, больший позор?!

Ведь легче бы было, если бы эти остервеневшие бабы разорвали его на кусочки, ибо „мертвые срама не имут".

И не тысячу ли раз прав глупый Семен, относясь с таким полным равнодушием к деньгам, и не тысячу ли раз прав умный Антон, ненавидя деньги?

И не развязаться ли ему в самом деле с этим проклятием, принесшим ему столько зла, как то советовал прежде умный Антон,—а теперь советует уже глупый Семен? Не отдать ли все деньги Антону с тем, что как он хочет и на что хочет девает их, поехать со всей семьей, кроме Ивана, а может ведь и Иван поехать, когда узнает о таком шаге отца, в эту тайгу и провести там остаток дней своих в труде по мере сил, в отдыхе, а главное—в чистоте и в покаянии: никогда не брать денег в руки—тех проклятых денег, про которые жадные торгаши нагло говорят, что деньги ни потом, ни кровью не пахнут, хотя прекрасно знают, что именно из-за денег льются и пот, и кровь, и слезы, что то хорошее, что делается на деньги, есть капля в море в сравнении с тем, что делается на деньги и из-за денег дурного.

Но додумав так до конца, до полной ясности, додумав так, когда вслед за неопровержимыми выводами должны наступать соответствующие решения и действия, за мыслью и словом—дело, Аким вдруг испугался: показалось, что

вопрос настолько серьезен и важен, что решать его так скоропалительно нельзя.

Необходимо в таких вопросах еще не раз основательно, всесторонне обсудить и обдумать, чтобы не вышло так, как часто у людей выходит: „поспешишь—людей насмешишь“.

Необходимо: „семь раз отмерь—один раз отрежь“.

А вслед за этим уже многое не понравилось Акиму в речи Семена.

Во-первых, очень глупо и неуместно со стороны Семена говорить о таких щекотливых и серьезных вещах при посторонних лицах. Правда—дурак, таких тонкостей не понимает, но в таких случаях с дураками не церемонятся и глупо поступил он, Аким, дав дураку разболтаться: оборвать бы с первых же слов!

Во-вторых, хоть и дурак Семен, но почему-то этот дурак заимствует из разговоров братьев только самое отрицательное: ведь, если Антон и Иван говорят о нем об Акиме, о его деньгах, они несомненно понимают, что как и всякие большие деньги, наживаемые одним лицом в короткое время—наживаются всегда нечестными, хищническими путями, но понимая это, они понимают и другое,—то, что даже и деньги при хищнической наживе не обходятся без забот, хлопот, недоедания, недосыпания, безпокойства и опасений. А дурак этого не понимает и говорит не о рублях, не о десятках рублей, а о сотнях тысяч так, как-будто бы потерять эти сотни тысяч ничего не стоит, как-будто бы это такой груз, который чем скорее с себя сбросишь —тем лучше.

В-третьих, дурак берется судить, что в тайгу с Антоном какие-то „хорошие люди подбираются“. И советует этих людей посмотреть. А что, собственно, он по своему слабоумию понимать в людях может: для такого дурака ведь все хороши.

Наконец, дурак слышит разговоры братьев, но, не понимая сути, порет потом явную глупость. Советует ему развязаться с деньгами, ибо, по мнению дурака, у денег есть голова, и эту голову Антон бы лучше обломал...

Какая такая у денег голова?!

Последнее Акиму в речи Семена не понравилось больше всего.

И, нахмурившись, Аким внушительно сказал Семену:

— А не болтал бы ты языком о том, чево совсем не понимаешь,—лучше бы было! Куда деньгу дену, когда умирать буду—не твоей это глупой головы забота. Может, и с медом буду лопать, а не долопаю, свиньям выброшу долопать—и эфто мое право! Попробуй, наживи вот прежде ты, сколько я нажил, тогда бы я с тобой стал разговаривать, куда деньги пред смертью девать. Это вот ты, знаешь: „Иванка, мол, дает Антону, да у Иванки мало“. А того не знаешь, што легко Иванке давать—чужим, отцовским горбом нажитые деньги. Посмотрел бы я, как Иванка давал бы деньги, нажитые своим горбом. А таких денег, пока што, у него не видно. Пока што—отцовскими швыряется, не за свои денежки себе честь приписывает! Так-то все щедры могут быть. А вот нажить попробуй. Хоть и говорят коммерческие люди, што, мол, „не обманешь—не продашь“, а сплошь и рядом так бывает, что пока „обманешь и продашь“, так эфто в ину пору тебе в такие труды влезет—с ног валишься! И ежели бы вот ты попытал, как деньги-то наживают, тады бы глупостей не говорил. У денег—голову нашел. Дурак ты, дурак! Никакой головы у денег нет, а вот што умные головы деньгу больше глупых зашибать могут—эфто верно. Умная голова для деньги к себе дорожку проторит—ну, оне и идут тады; а дай ты эфту готовую дорожку глупой башке—глупая башка и тут не совладает: кто-нибудь поумнее перейдет деньгу. В эфтом вот и вся премудрость. У бумажек да у кружочков золотых, серебряных головы мы не видим, а вот то, что за эфтими бумажками и кружочками слишком много человечьих голов охотятся—эфто мы видим! Обламывать же деньги так, как Антон собирается обломать—я наживал деньги, а он их полагает убить все на одежу, на обужу и на все там прочее,—так обломать деньги всяк сумеет. Хорош значит народец в эфту тайгу с Антоном поедет, ежели этот народец надо одевать да обувать. На таких лодырей бесштанных, на босяков бездомных не только моих денег, а и никаких милиёнов не хватит. Одень, обуй такую голь перекатную, да еще корми ее—тады она жить, дармоедничать будет; ну, а ежели заставить ее за хлеб, за обужу, да за одежу работать—только ты ее и видал: вся разбежится! Кто не лодырь и не дармоед—тому и в тайгу не за чем ехать: он и здесь и на хлеб, и на одежу, и на обужу себе заработает. Я Антона глупым

не считаю, но на эфтой затее, с тайгой, куда потащится Антон со всяким паршивым сбродом—вот на эфтой затее Антон, действительно себе голову обломает.

Помолчал Аким с секунду и добавил: уже зло—от мысли, что вот до чего он дожил, если допускает себя до таких длинных объяснений пред слабоумным сыном, и объяснений по такому вопросу, что если бы сюда призвать тысячу человек, то все бы они, как один человек, сказали, что дурак был бы Аким, если бы на такую нелепую затею швырнул, как в печку, сотни тысяч рублей.

— Ну, ты, умная голова, ежели уж ты додумался до того, што деньги тоже голову имеют, понял что-нибудь из того, что я говорил?

Усмехнулся добродушно дурак.

— А как тебе, папашка, сказать... Я тово... вообче, когда ты говоришь—мне тебя и понимать не хочется. Ни к чему мне все это. Вот когда Иванка да Антон говорят—слушать хочется. Я, конешно, што... дурак—сам это знаю. Не могу вот тебе, папашка, расписать, как Иванка с Антоном о деньгах говорили: очень уж хорошо и умственно говорили. А все-таки, я кое-что понял. Придет все-таки худо к тому, кто на деньги жаден. Эти бумажки да кружочки-то—хитрые! Богатый какой-нибудь думает, что он деньгами управляет,—ан нет: деньги им управляют. Он своей головой и подумать не моги—деньги ему сейчас же свое цыкнут. Иванка про тебя, папашка, так сказал: „родитель, говорит, кажется, до гроба не расстанется с этим желтым дьяволом“. Это Иванка деньги так называет—желтым дьяволом,—даже пояснил Семен и победоносно улыбнулся.—Ну, а Антон засмеялся и говорит: „Пожалуй, верно. Отец только про деньги думает, только о деньгах говорит, только на деньги и смотрит, только о деньгах слушает. А на счет всего остального у отца—мозги не шевелятся, глаза не видят, уши не слышат“. А я подумал, папашка, и сказал: папашка, говорю, и нюхает-то только там, где деньгами пахнет. Это, говорю, он учует лучше всякой собаки.

Не могли сдержаться над последними словами Семена работники—громко фыркнули.

Посмотрел Аким на Семена и впервые про него подумал, что Семен не так уж глуп, как ему всегда казалось: по

своему Семен даже умен. Если он что знает, то знает твердо: хоть кол ему на голове теши, а он от своего не откажется. Он ли, Аким, уж не бился с ним, чтобы отучить его от простоты—отдавать с себя даже рубашку—а отучил ли? А такая стойкость, пожалуй, уже и не глупость...

Но что поразило Акима страшно—это деньги, названные „желтым дьяволом“. Аким сразу понял, что „желтым“—это от цвета золота, так как в той среде коммерсантов, в которой он вращался, часто деньги называли „желтым металлом“. Но чтобы их еще называли и „дьяволом“—этого Аким ни разу не слышал. И растерялся Аким так—не знал даже что сказать Семену, чтобы скрыть свою растерянность.

И уже не было зла к Семену—смяк Аким, увидел, что рубаха и портки на Семене хоть и чистенькие (догадался Аким, что это заботы старухи), но уже сильно ветхие—скоро совсем расползутся,—сапоги тоже неважные и, вынув бумажник, отсчитал тысячу рублей и, протянув их Семену, тихо, как-будто даже стыдливо, сказал.

— Подорвался ты, как видно, во всем. На-ка вот тебе на справу. Дорого теперь все. Купи себе хорошие сапоги, ну, белье там всякое, брюки... Вообче—всю справу. Да с матерью сходи купить-то, а не один... Дал бы сейчас тебе и больше, да боюсь: по ветру пустишь на каких-нибудь жуликов! Лучше потом дам еще,—когда увижу, что эти не пропали у тебя прахом. Справишь тады себе хорошую поддевку, сапоги гамбургские с набором. Вообче—щеголем справься.

Сказал Аким и уловил себя на том, что избегал произносить слово „деньги“.

Семен денег не принял. От протянутой с деньгами руки Акима быстро спрятал свои руки за спину и победоносно заявил:

— Не возьму! Ни за што не возьму!

— Да ведь оборвался весь—возразил Аким:—чего дуришь-то.

— Я не дурю! Мое дело работать, а там обувку, одежу мамка справит.

— Да где же она справляет, ежели на тебе не видно?

— Справит. Уж говорила. Мое дело только работать, а обо мне уж там позаботятся. Я этому желтому дьяволу

голову сразу свернул! Я так, папашка решил: никогда, ни вжисть, до гроба денег больше в руки не возьму. Со мной ему разговоры плохие: разом ему головку на бочок. Пускай там наводит мороку, кто ему поддается, а ко мне—держись подальше, объезжай сторонкой!

Точно кто ошеломил Акима, сунул Аким машинально деньги в карман и пошел молча из избы к выходу. Но около самой двери его остановили работники. Оба—грязные, рваные. Один подобострастно смотрел на Акима, другой льстиво говорил:

— Уж и умны вы, Аким Петрович, когда разсуждение имели на счет Антоновой затеи. Все верно рассудили, как в аптеке: мы вот тоже тут думаем, что Антон в этой тайге деньги только зря загубит. Даже жалко вас, Аким Петрович, что сынки вам не помощники. Семка—дурак, Бог обидел от рождения, ну, а Антон хоть не дурак, а все же чудной какой-то... так немножко из-под угла мешечком ударен. На войне, должно-быть, такое по вреждение головы получил.

— Ну, а дальше што?—спросил Аким, не понимая, к чему такая речь заведена.

— Да ничего...—помялся работник и решился.—А мы вот с товарищем надумали, Аким Петрович, к вашей милости.... Семка, конечно, дурак—своего добра не понимает. Ну, а мы с товарищем вот понимаем: босявками да рванью нам не охота быть, а приходится. Жалованьишко-то наше какое—никак на него не оденешь себя. Вот мы с товарищем на вашу милость и положились: может, будет ваша такая великая милость на порты там, на рубахи нам с товарищем пожертвовать, сколько вашей милости не жалко будет! Оборвались уж как—страм!—Уж мы бы за вас Богу помолили...

Взглянул на них Аким. От обоих разит перегоревшим денатуратом, оба страдают с похмелья. На счет Семена—верно: считают его за дурака, а все остальное—ложь. С теми взглядами, которые Аким развивал пред Семеном глубоко несогласны уже по одному тому, что они—голяки, а он—богач: две несовместимые противоположности, всегда исключающие одна другую.

Что же касается Антона—языком против правды покривили, а в душе считают его очень умным и верят, что не только дело с тайгой, а и все, чтобы Антон ни затеял—все должно быть не плохим.

Ясно—подкатились, чтобы выклянчить якобы на порты и рубахи, а поддайся им на эту удочку—сейчас же пропьют „на огоньке".

Молча и сурово отстранил Аким работников с пути и вышел из избы, со страхом думая: „Вот уж он тут... желтый дьявол... и есть!

А проходя мимо раскрытых окон избенки—услышал, как отпустил по его адресу один из работников:

— Ну, и сволочь же твой родитель-то, Семка: из сволочей—сволочь. Ядреная, 96-й пробы! Вот народ-то, поди, жмет, вот кровушки-то, поди пьет—кровосос этакой!

А другой работник подхватил:

— Да уж хорош должен быть, христопродавец! Хоть бы керенку несчастную на бутылку кинул. Что ему керенка стоит,—как для нас грош, а и ту пожалел. У, живоглоты—перевешать бы таких давно надо, а они все живут, все народ давят!

ГЛАВА XXII.

И опять подумал Аким: „Он, дьявол!".

Сел в тарантасик на резиновых шинах, тронул рысака, а дальше не правил. Знал рысак,—если не правят—значит домой надо держать и, давно уже порядочно застоявшийся, сам развил такую резвость, какой не всегда и понуканием достичь можно.

Мчался Аким и думал все о том же—о разговоре с Семеном.

Изредка, когда рысак зарывался и переходил на галоп, Аким переводя его на рысь, равнодушно, по привычке бросал: „Я тебе, чорт скаженный, дам!" и „давал" жестко, тяжелой ременной вожжей так, что на рысаке не от хода, а от боли и страха проступило мыло.

Подъезжая к деревне, увидел Аким, что у крайней избы собралась туча народу—вся деревня. Хотел миновать, да не удержался—почему такое большое скопище?—и остановился.

Оказалось—пожилой мужик Назар повесился. Болтался в избе на перекладине от палатей—не снимали по старому обычаю, пока начальство не придет: ждали кого-нибудь из Совета.

А в Совете как раз никого не было: разогнал всех куда-то по делам председатель Совета Иван, да и сам в какую-то волость уехал.

Повесился Назар из-за жадности. Поехал он с раннего утра в город обменивать боны на деньги. А было у него этих бон столько—говорили, что фунтами вешал.

Вскоре после октябрьского переворота в губернии оказался настолько острый денежный кризис, что в январе губернский город вынужден был временно выпускать свои деньги—боны в 3, 5, 10 и 25 рублей.

Боны были выпущены на плохой бумаге, да и вообще—сфабрикованы так, что самая захудалая литография без труда могла заняться подделкой этих бон.

И подделанных бон было пущено в обращение неисчислимое количество. В городе лучше разбирались в бонах, а потом даже и не с фальшивыми старались поскорее развязаться—боны попадали к деревенскому населению и там завязали.

В мае губернский совдеп объявил обмен бон на деньги государственного образца и каждый день в Совдепе разыгрывались отчаянные сцены: пачки бон у деревенских баб и мужиков оказывались стоимостью ниже оберточной бумаги.

Много было таких „бон“ у Назара. Урожай картофеля в семнадцатом году по всей губернии был большой, своего картофеля собрал Назар не мало и принялся скупать чужой, где только можно.

Платил по два—по три рубля за меру, по деревенским слухам—„засыпался картошкой“, продержал этот картофель до весны восемнадцатого года и в апреле пустил его в продажу.

Первую неделю по 20 рублей за пуд, вторую—по 30, третью—по 50 рублей. Удобно: сам в город не возил—от него в город везли возами. Платят, не торгуясь, почти все бонами.

Предупреждали некоторые Назара, чтобы он с этими бонами был поосторожнее—захваченный азартом наживы, он тупо мотал головой и злобно огрызался.

— Не ваше дело! Забота, подумаешь, припала... Знаем вашу сухоту-то: зубами щелкаете на ту копеечку, которая ко мне валится.

Распродал картофеля Назар будто бы свыше трех тысяч пудов и изведся в это время так—краше в гроб кладут.

С одной стороны жалел, почему цену не взвинтил до ста рублей за пуд—судя по тому, как безропотно платили; казалось, что и сотню без разговоров дадут, а с другой—боялся, как бы и в самом деле на бонах не провалиться.

Так и вышло: провалился. Какой-то, очень ничтожный, процент бон оказался действительным, а остальные—подделка.

Вернулся домой Назар сам не свой, а дома ждала другая беда.

Боялся Назар всегда, как бы не ограбили, прятал деньги в разных местах, нигде не давая подолгу залеживаться, а в последнее время надежное место нашел: большая куча мусора у печки—а в этом мусоре в „виточке“ все его николаевки и керенки.

От жены, конечно, это не было секретом.

И очень был доволен Назар своею изобретательностью: ну, кому в голову придет искать денег в мусоре? Можно из дому уходить и не запирать: такой надежный „тайничок!“

Пусто было в доме Назара: он, жена, да 6-летняя внучка.

Единственного сына у Назара на войне убило, сноха не ужилась—досыта хлеба Назар не давал, ушла „на услужение“ в город, оставив дочь у Назара на время.

Топила жена Назара печку, вывернулась на двор, заговорилась немного с соседкой, а внучка в это время из кучи мусора в печку то щепочку бросит, то пучок соломки—так и дошло дело до „виточка“,—дешевенький, ситцевой платок, который от времени и грязи в грязную тряпку превратился.

Вернулась жена Назара, увидела развороченной кучу мусора; „виточки“ хватилась, а от него уже в печке один пепел остался.

Вернулся из города Назар сам не свой. Если бы „виточек“ был цел—пожалуй, и это не спасло бы Назара: от

одних бы бон сдох. А тут еще „виточек“ с верными николаевскими и керенками сгиб. Схватил топор Назар и хотел зарубить жену и внучку. Да не удалось: схоронилась куда-то жена с внучкой. Поискал Назар, пошел в избу и повесился.

Стоял в сторонке Аким от толпы, слушал, а когда из разговоров понял, как все это произошло, с ужасом подумал: „Вот он... желтый дьявол!“

Выяснилось и еще нечто: Назара можно было спасти.

Шли мимо Назаровой избы двое мужиков — один из них кулак и даже бывший член бывшего сельского комитета,— и увидели в поднятое оконце: висит Назар на перекладине от полатей и еще ногами дрыгает. Рванулся было мужик спасать Назара, да попятился: очень уж его напугал вид Назара.

А кулак-комитетчик, хотя и не боялся, а тащить из петли Назара не хотел: желал получить веревку от повешенного— счастье приносит!

Мужик предлагал: пусть кулак берет веревку за помощь вынуть Назара из петли. Кулак и тут не согласился: какое же счастье может принести такая веревка, из которой живого человека вытащили?

Тогда мужик хотел сзывать народ, но кулак и от этого остановил. Уговорил мужика не упускать случая: пусть „довесится“ Назар как следует, тогда они созовут народ, вынут Назара из петли, а веревку поделят между собой пополам.

Так и дали Назару „довесится“, потом созвали народ, но веревку поделить не удалось. Проговорился испуганный мужик двум бывшим солдатам — фронтовикам, как „дело происходило“, солдаты это дело поняли по своему: сбегали домой, вернулись — один с винтовкой, другой — с саблей, встали у входа в избу, да кстати кулака и мужика под караул взяли:

— До прибытия, значит, начальства. Тогда все разберется.

Мужик был страшно напуган, кулак — только немножко огорчен тем, что теперь не удастся воспользоваться половиной веревки, а только маленьким кусочком, ибо желающих на это оказалось много.

Толпа Назара не жалела; очень уж всем он был противен своей жадностью.

Стояла темная толпа, ахала „до чего жадность доводит!“, а сами все, за редкими исключениями, нетерпеливо ждали, когда же можно от веревки повешенного урвать хотя крошку: говорят ведь—счастье дает.

Смотрел Аким и на толпу, и на мужика, и кулака под караулом и думал: „Желтый дьявол... и тут и там — везде он!“

Но толпа говорила не только о жадности Назара — еще больше она говорила о жадности Акима.

И как всегда: мягче о мертвых, жестче — о живых.

И слышал Аким, как слова порицания, осуждения, злобы, ненависти, а превыше всего — зависти сыпались в его сторону из десятков уст.

Аким даже видел, что в числе хулящих его есть не мало лиц, которые не так давно чуть не ползали перед ним на брюхе: старались, чтобы забыли люди когда-то бывшую прикосновенность их к Акиму.

И особенно горько было Акиму от действий этих иуд, ибо видел он, что действуют они не безуспешно: забывают темные люди, что и эти иуды не мало виновны пред ними и всю свою ненависть, всю свою прошлую горечь и обиды обрушивают, как гору, только на одного Акима.

И слушал Аким эту хулу всенародную прежде с поникшей головой и с тем испугом, который пережил у источника, но потом, постепенно в голове его зароились иные мысли и иные вопросы: почему именно всеобщее озлобление только к ему, если не только он, но и все знают, что он, Аким, еще не самый худший человек в деревне, — есть еще лютее, жаднее, беспощаднее, чем он?

Почему почти ничего не говорили на деревне, когда от такого тупого жаднюги, как Назар, сноха, не получая за свой труд от Назара даже сытости одним хлебом, ушла в чужие люди?

Да и у одного ли Назара такие явления? Разве таких явлений мало было, есть и будет по деревням, — явлений, считающихся обычными?

Почему удивленно ахали и охали, когда узнали, что отвалил Аким снохе — жене Ивана пять тысяч — факт по деревням совершенно неслыханный?

Пусть он эти пять тысяч дал под давлением Ивана, но

ведь Назар и подобные Назару не дали бы и пятой части такой суммы ни под чьим давлением?

Подняли бы вой и шум на всю деревню о недопустимости такого грабежа ихней „кровной копеечки", и, если бы вой и шум не помогли бы — на нож пошли бы, сдохли бы, но не дали!

Можно карать людей за их грехи и вины, но карать справедливо!

И показалось Акиму, что, правда, грешен он, но карают его сугубо несправедливо.

И тогда та злая сила, которая руководила Акимом во всю его жизнь, та злая сила, которая везде и всюду заставляла его быть жестоким и жадным, где это только можно, та злая сила, которая на время, под давлением и ударами последних событий, как-будто бы свернулась в Акиме, как прибитая, но не добитая гадина—затаилась и ждала, когда можно будет поднять голову и поразить своего врага смертельно, — это злая сила-гадина вдруг пробудилась в Акиме со страшной злобой.

Аким поднял голову и уставился горящими глазами в упор на хулящую его толпу: он смотрел на всю толпу, а каждому, в этой толпе казалось, что Аким смотрит только на него. И столько было злобы, ненависти, презрения в этом взгляде, а на искаженном лице Акима — столько исступленной гордости, силы и веры в себя, что толпа смутилась, прикусила языки и до слуха Акима вместо громких, дерзких, вызывающих словечек и фраз, стал доноситься только робкий и испуганный шопот:

— И страшный... как дьявол...

— Верно: поди-ка возьми голыми руками.

— А покажет он нам еще себя...

Это мужики, а бабы, — может-быть, даже те, которые плевали Акиму в лицо.

— Ой, матушки... как черный из-под мельницы!

— Хуже, чем Назарка в петле... ей Богу, хуже!

— Ай, боюсь... я уйду...

— Глазищи-то какие... пронзенные...

— Уйду... Охота смотреть: прямо черный...

Слышал Аким все это, но если бы даже и не слышал — все равно верил, что вновь он сумеет зажать всю деревню в

свой кулак — да покрепче, чем когда-либо было. Возбужденный мозг лихорадочно создавал Акиму одну махинацию за другой — одна другой хитрее, как обманом, а где силой и угрозами запугать темных людей.

И сказал Аким толпе властно, бешено:

— Ну, поприжали, как вижу, языки? Погодите, — не так еще прижмете. Рано вы еще возрадовались. Вы, меня... всякая там паршь...: мне в лицо плевали... мне! (Аким показал мизинец). Да у меня вот здесь больше, чем во всех ваших мякинных башках! Погодите: отольются кошке мышиные слезки!

Растерялась толпа: никто не нашелся хоть бы единым словом что-нибудь ответить Акиму.

И это учел Аким, тронул лошадь и еще властнее крикнул:

— Встали на пути, вороны! Дай дорогу!

Стала было толпа тесниться на узкой деревенской уличке, чтобы дать Акиму проезд, и вдруг опять сомкнулась.

Послышались десятки радостных мужичьих и бабьих голосов:

— Иван Акимыч! Вон он... Иван Акимыч!

Быстро подскакал верхом на молодом, запаренном жеребце Иван; бросил первому попавшемуся на глаза поводья, окинул взглядом толпу, вызвал троих мужиков, — наиболее сообразительных, — и рядом коротких вопросов в три минуты выяснил все, что ему было нужно.

А затем приступил к действиям, которые продолжались не более пяти минут. В течение этого короткого времени вытащили Назара из петли и был произведен Иваном суд и расправа над виновными.

Мужику Иван дал три здоровенных затрещины, выругал „болваном" и отпустил, кулаку несколькими жесткими, рассчитанными ударами разбил в кровь физиономию, наставил под глазами фонари, и вынес решение:

— Если бы вместо Назара случилось несчастье такое с каким-нибудь человеком получше, то эта сволочь (Иван ткнул на кулака) не разделалась бы у меня не только всеми своими деньгами и имуществом, а и всеми своими потрохами Но Назар? — такую дрянь не жалко, но все-таки, чтобы другим не повадно было веревки от удавленников на счастье доставать — постановляю: оштрафовать Аксенова (фамилия

кулака) на пять тысяч в пользу жены Назара, похороны в сумме трехсот рублей произвести на счет того же Аксенова. Деньги взыскать с него же и доставить их мне в Совет. Счастливую веревку от Назара я дарю всю Аксенову одному— пусть ее побережет до того времени, когда, может-быть, для своей шеи понадобится! А пока—накидывайте эту счастливую веревку арканом на Аксенова, ведите его до его избы, взыщите с него штраф — полностью, до копеечки! — Потом на этом же аркане сведите его в холодную на месяц. И веревку ему в холодной оставьте: пусть там сидит и гадает— дорого или дешево досталось ему это сокровище?

Толпа разразилась гулом одобрения:

— Так, Иван Акимыч! Правильно. И умно и по-Божьи! — Будет, сукин сын, помнить счастливые веревки! — Благодарим, Иван Акимыч! И скоро, и крепко расправился: лучше не надо!

А часть из толпы уже заарканила „счастливой“ веревкой кулака и с шумом, гамом и смехом повела его—избитого, пришибленного, тупо расстроенного.

За этой частью тронулось почти и все остальное скопище.

ГЛАВА XXIII.

Видел Аким, что о нем все забыли и со вздохом облегчения тронул потихоньку своего рысака к дому. Он уже ничего не хотел, кроме одного — забиться в свои стены, чтобы его никто не видел. От тех злых, горделивых чувств и мыслей, которые переживал только всего полчаса каких-нибудь назад, у него и следа не осталось.

Особым чутьем человека, давно специализировавшегося на знании людей и в единицах, и в массах, Аким понял что власть таких лиц, как Иван, над людьми безгранична и, что ему, Акиму, думать о власти над народом при наличности Ивана не только бесполезно, но и смешно.

До этого дня Аким от Зиновии, которая, как и всегда была в курсе всех событий в деревне, не раз слышал, как председатель Совета, Иван Акимыч“ круто расправляется не только с рядовыми мужиками, в чем-либо провинившимися или оплошавшими, но и с членами Совета.

И ничего—народ, как-будто даже одобряет и из уст в уста передает, что „Иван Акимыч“ правильно говорит, что „русскую харю будь то барин или мужик все равно,—для его добра же бить надо, а не то—и себя погубит и всю Рассею“.

Неверил Аким, думал — сказки рассказывают, но когда увидел сам, как встретила Акима толпа, как быстро стараясь изо всех сил, выполняли люди его приказание „не за страх, а за совесть“, так и почувствовалось, что и уважают лицо, приказания которого выполняют, и побаиваются, что замешкаешься-затрещину здоровую получишь, но заранее мирятся с этой затрещиной, как-будто полагая, что если уже, затрещина—значит так и надо!

Видел Аким, как жестоко расправился Иван с Аксеновым и ничего Аксенов: прижал хвост, как хоть и зубастая, но тяжело прибитая, еще более зубастым, собака.

А ведь знал Аким этого Аксенова кулачком из таких, который не только способен спокойно ждать, когда человек довесится, но и сам, не моргнув глазом, повесит, человека, знал, что в крайних случаях Аксенов мог за себя всегда постоять как медведь — и сам на рогатку полезет, но и охотнику черепа целым не оставит!

Видел Аким, с каким удовлетворением приняла толпа единоличное „постановление“ своего председателя Совета. Ни один голос не заикнулся, что постановление-то надо бы „обсудить“.

Было ли что-либо подобное у бывшего председателя сельского комитета, у которого часами „обсуждали“ пустяковые вопросы и который присвоенное ему звание „председателя“ мог читать только на бумаге. А на деле про него говорили.

— Тут вот Еремка — культяпый загнул запятую...

— Знаем мы, куда это культяпые-то гнут:

— Нам эти Еремки-то не указ...

Напрасно Еремка-культяпый напоминал, что он тут не частное лицо, а „председатель“ — напоминания всегда приводили к смеху:

— Ну, какой там председатель...

— Рылом не вышел.

Выходило, что Иван „рылом вышел“, если его звали почтительно „Иван Акимыч“, а за глаза еще добавляли: „наш председатель Совета“.

А „рыло“ у председателя было — действия злые, жесткие, решительные, а сам невозмутимо-спокоен, весел.

Известно также было, что молодые бабы и девки „обмирают“ по Иване и слывет он у них под названием: „Разудал-молодец“, или „Лихой разбойничек“.

И понял Аким, что власть по спокойному, почти всегда веселому лицу „разудалого молодца“ а по действиям „лихого разбойничка“ — власть этого лица над народом будет крепка.

Известно также было и то, что приглашали Ивана быть председателем волостного Совета, потом даже уездного, но Иван отклонил то и другое: рыщет по уезду и свергает старые „эсеровские“ комитеты.

Хотел проскользнуть Аким мимо Ивана, да не удалось: знаком Иван попросил обождать. Уж сидел в седле Иван, чувствовал жеребец пока по легкому нажатию, что погонят его сейчас куда-то немилосердно и косил глазами, прял ушами. Отдавал Иван солдатам последние распоряжения, и кстати слегка и распекал:

— Ну, вы, беспортошная гвардия! Чорт вас знает, зачем винтовку притащили, саблю? Глупо! Сделать вот что: сегодня разыщите жену Назара,—куда глупая баба спряталась?— Внучку у нее отберите. Всех таких детей, при которых нет отцов и матерей, а, пожалуй, даже и таких, которые при отцах, и матерях хорошего мало видят, мы соберем при Совете и будем воспитывать их на общественный счет. Денег найдем! Здесь, верст за сорок есть такой мироедина: говорят, что одних керенок имеет пуда полтора. А когда его спрашивают: — Правда ли? — смеется, хам и отвечает: „Полтора не полтора, а два наберется“. Говорят, с земли в нынешнем году ожидает такой урожай, — а земли у него не мало,— на котором надеется тысяч четыреста нажить. Пощупаем мы всех таких тут! Назара завтра же похороните: чтобы воздух не портил. Эка, жадность-то чертова! Так смотрите, чтобы все было исполнено.

Солдаты на вытяжку перед Иваном не стояли, но—„слушаем, Иван Акимыч!“ — ответили с такой почтительностью и готовностью стараться, что едва ли отвечали когда так офицерам.

Подъехали Иван к Акиму, остановился шагах в трех, и

взглянул на отца молча, испытующе, взглядом таким странным: не то страшно-злым и холодным, не то весело, даже как будто по-детским шаловливо и лукаво смеющимся.

И смутился Аким под этим взглядом — долгим, мучительно-долгим он ему показался, хотя и не был долог,— как пред своей совестью, которая все пряталась, а теперь вдруг появилась во весь свой грозный рост: вмиг понял Аким, что те мысли, которые бушевали в его голове каких-нибудь полчаса назад—это все тот же обман желтого дьявола.

Стало ясно и понятно, что никакой тут сугубой несправедливости нет—в том, что народ больше ненавидит его, Акима, чем всех взятых и более, чем Аким, грубых, тупых и жестоких кулаков вместе; что именно это так и должно быть, что эта общая ненависть правильно народом понята и учтена, как общая ненависть против самого своего сильного и опасного врага.

Припомнил Аким, как он открыто презирал всех кулаков своей деревни за тупость, за бессмысленную иногда, сильную жадность, припомнил и сознал, что эти все кулаки были народу вредны и опасны, главным образом потому, что группировались вокругъ Акима.

С Акимом—сила, а без Акима—ничтожество в роде Назара, который по своей тупости все последствия своей глупой жадности обрушил на свою же голову.

Чуть получше Назара и остальные кулаки —и взятые все вместе они менее опасны, чем один Аким.

Сознал это Аким и почувствовал себя под взглядом Ивана мерзко: полчаса тому назадъ в нем поднималась та злая гадина, которую он счел за свою неоспоримую правоту, а на самом деле не было правоты, а было коварство и злоба этой гадины—теперь эта гадина пряталась с единственным сознанием, что не до борьбы уж ей, что бессильна она против своего врага и благо ей, если ей удастся ускользнуть от своего врага так, чтобы быть в безопасности.

Так мерзко почувствовал себя Аким пред сыном и уже ждал, что ему скажет сын с жалко-беспомощной, поникшей головой.

Сказал Иван—речь ведет о большом, а тон—самую малость нетерпеливый:

— Сейчас мне, родитель, некогда, но дня через два—

три я к тебе зайду. И имей в виду: зайду в последний раз. И надоело мне с тобой валандаться и некогда! Поважнее тебя дела есть. И помни: если ты и на этот раз добровольно не отсчитаешь мне половину своих капиталов — отниму я тогда у тебя весь твой капитал. Я не понимаю, какого чорта тебе еще надо: ведь половину, на что у тебя останется, ты весь век со своей ведьмой киевской можешь, как сыр в масле кататься! Я понимаю жадных людей; понимаю, что много иногда они труда кладут,—пока капитал сколотят, как вот ты, родитель, положил—и вот, ради этого, я у тебя не требую всего, а только половину. На остальную половину живи, как хочешь, я тебя не трону тогда больше—даю тебе слово! Даже больше... Все грешны бываем... В недалеком будущем у меня здесь пойдет работа большая: не насчет денег,—а попочетнее. Харю будем свою Российскую—грязную, безобразную, неумытую, темную в порядок приводить, чтобы быть хоть немножко похожими на людей. Ведь пока что—только на словах „люди", а на деле—хуже скотоподобных! Вот и говорю: все грешны бываем, но от грехов почиститься можно. Глупым тебя, родитель, я не считаю, работники мне умные по горло будут нужны, и вот здесь, родитель, ты можешь хорошо поработать для людей, а не против людей, как ты до сих пор работал. Подумай, хорошенько над тем,—хотя и думать то тут, по моему, нечего,—что я сказал и брось ломать чорта старого, надъ деньгами глупо издыхающего. Приготовь деньги. Антон скоро уезжает — деньги ему нужны, и не милость твоя, а обязанность дать ему, матери и Семке за то, что они тебе работали, половину своего капитала. Я так решил и так должно быть. Помни, что с тебя требую меньше, чем следует.

— А почему сам Антон не просит?—тихо спросил Аким и добавил уныло:—обидно так...

— Ну, это статья другая, о которой говорить долго. Антон хорошо умеет тратить деньги—не на себя, а на дело,—ну, а говорить о деньгах, тем паче—просить денег,—этого Антон не может, и мы должны в нем это уважать. Дай Бог, чтобы всем были так противны деньги, как ему!

Перевел Аким разговор на другое:

— Для людей, говоришь, работать... А посмотрел бы ты, как эти люди меня травят? Хуже бешеной собаки!

— Ничего, родитель! Сознайся, что лучшего ты не заслужил. И это принесет тебе свою пользу. Возможно, что темный народ через край хватает. Этого больше не будет. Я скажу, чтобы не было. А пока,—некогда мне, – до свиданья, родитель.

Иван дал жеребцу удар хлыстом, крупный жеребец тронулся тяжеловато, но минуты через две-три не было уже видно ни коня, ни всадника: только пыль столбом крутится.

ГЛАВА XXIV.

Последние дни Акима были особенно тяжелы.

Мучили его нерешительность, колебания, раздвоение, но больше всего мучило какое-то томление,—похожее на предсмертное. И это томление пугало Акима и острым, и давящим, как глыба свинца, недоумением: не так уж плохо чувствовал он себя физически, чтобы думать, что скоро умрет.

И все-таки—тяжел прожитый день, а наступал другой—и был по страшному томлению еще тяжелее вчерашнего.

О том, что завтра или после завтра явится Иван с требованием половины всего Акимова капитала — об этом дне Аким думал так робко, пугливо —можно сказать, что почти совсем не думал: просто решил, что нечего гадать насчет этого дня, ибо все в нем, самом Акиме, так смутно, так все неопределенно, противоречиво и, что лучше положиться на этот день так:—чему быть, тому не миновать.

В глубине души у Акима уже созрело решение, что Иван в своем требовании половины капитала на Антона, старуху и Семена прав, что Аким эту половину может дать, но—очень уж обидно было Акиму то, при каких условиях эту половину придется отдавать.

Вопрос идет о такой громадной сумме—чуть не 200 тысяч. Но те три лица, которые должны получить эти деньги, не хотят с Акимом даже об этих деньгах говорить.

Антон заикнулся только в паре слов раз, старуха не заикнулась ни одним словом, Семен заикнулся раз,—но как? Сам в руки денег не берет, когда дают ему, совет же его отдать Антону деньги — совет крайне пренебрежительный, как-будто речь идет о каких-то грошах, или если не о гро-

шах, то все равно как о такой вещи, от которой чем скорее избавиться, тем лучше.

Аким признавал уже твердо еще и то, что деньги, правда, уже не такое счастье, о каком думал в своем заблуждении раньше, что они вдруг иногда связываются с такими глубоко и мучительно ранящими терниями, как у него, с такими потрясениями и семейными разгромами, как у него, и, что благо тому человеку, как Семен, который имеет в себе силу и мужество отшатнуться от власти и соблазнов денег, как от скверны.

Но ведь это уже—истинно-святые люди, а таких святых людей, как известно, в мире очень мало.

Не святой и он, Аким, а между тем от него требуют истинно-святого отказа от огромной суммы денег: пусть прав Иван в своих выводах, но зачем он так груб и резок в своих требованиях; пусть Антон на себя, на мать и на Семена получит большую сумму денег, не как милость, а как нечто должное,—пусть так, но разве не обидно, что ни Антон, ни мать, ни Семен—никто из них, скорее всего, не придет к Акиму и не скажет ему простого „спасибо“?

К чему им заботиться самим, если у них имеется такой сильный посредник, как Иван?

Но ведь это одна сторона медали. А другая—пусть он, Аким, был хищник, вся его жизнь прошла в погоне за наживой; в этой вечной погоне за рублем он обежал мимо свою личную жизнь — не зная ни радостей, какие есть в жизни, ни отдыха, он сколотил, наконец, большой капитал.

А что такое капитал? Ведь все в том, как его употребить?

В одних руках деньги скверны, преступны,—грозное оружие коварного желтого дьявола, которое несет горе, слезы, страдания не только тем, против кого это обращено, но и против того, кто это оружие обратил; в других руках—деньги как-будто бы оружие против самого Желтого Дьявола: он хочет сеять только нужду, угнетение, вражду, преступления, злобу, а иная человеческая рука на те же деньги может создавать людям вместо разъединения—объединение, вместо горя и слез — радость, вместо вражды и злобы — любовь.

Теперь он, Аким, готов дать деньги на дело, про которое Антон, и Иван думают, что дело хорошее: он дает деньги,

в которых не только горе, слезы, несчастия других людей, в этих деньгах—горе, слезы и несчастье самого Акима, но выходит так, что когда половина этих денег уйдет от Акима—никто, как следует, не поймет и не оценит его жертвы, никто не взглянет на него по-новому: просто решат, что вынудили кулака Акима расстаться с частью своих денег, что попрежнему Аким остается хищником, хотя уже и обезвреженным, но все-таки хищником, которому за его прошлое нет прощения и нет места между людьми, более чистыми, как зачумленному!

Таков суд людей — жесткий и несправедливый. А ведь Христос простил всего только за два-три слова разбойника на кресте!

Так глубоко думал Аким о своем трении с сыновьями из-за денег. Но, казалось Акиму, что эти думы еще не додуманы до конца, что есть еще две, три какие-то мысли, которые пока смутно бродят в голове и, что когда эти мысли вполне прояснятся и определятся—тогда и Аким разом выйдет из всех противоречий и колебаний.

И Аким искал эти мысли, ибо, как-будто что-то внутри подсказывало ему, что тогда он обретет в своей душе мир и спокойствие, в своих действиях — ясность и твердость. Но мысли эти пока не давались. Вот-вот блеснут, как долго жданное откровение, с полной ясностью, но минута, другая и идут уже мысли, хоть и глубокие, но уже не новые, не решающие.

И тогда именно Акиму как раз и становилось очень тяжело, именно тогда приходило к нему томление—похожее на предсмертное.

В часы такого томления Акима даже потянуло однажды на погост: пришел, сел около могилы отца и матери, и сидел долго, чувствуя себя таким несчастным, одиноким, что хотелось Акиму вопить, как вопят бабы: зачем, мол, мать родная, произвела меня на свет, головушку горькую на долюшку черную“.

Но сдержался Аким, ибо — не баба он, а потом и совесть подсказала, что в его „долюшке черной“ и его вины не мало.

И вернулся домой Аким не успокоенным. А дома тоже ничего не было, что могло бы хоть немного успокоить.

Сильно приставала Зиновия. Она твердила одно: что от

такого разбойника, как Иван, единственное спасение: пусть Аким оставляет дом, мельницы, кузницу на произвол судьбы, а вернее—в руки все тому же Ивану, пусть захватывает только свой капитал и бежит куда-нибудь подальше.

И соблазнительно расписывала Зиновия, как где-то „там", хотя Зиновия и многие места благословенные указывала, Аким хорошо на старости лет отдохнет.

Конечно, выходило так, что и Зиновия с Акимом вместе.

Аким слушал и соглашался, что это действительно самый лучший выход, но что нельзя так сразу: надо хорошенько обдумать, обсудить.

Эта мысль и на самом деле улыбалась Акиму, как легкий и быстрый выход из трудного положения и Аким осуществил бы ее давно, если бы не становилась препятствием та же Зиновия.

Дело в том, что Зиновия показала себя с иной стороны. С появлением Ивана ее честность, бескорыстие, которые так нравились Акиму, исчезли.

Прежде всего она сказала Акиму, что мужики ни на мельницах, ни в кузнице не хотят платить за работу зерном, а хотят деньгами. Акиму уже было не до того, чем платят мужики за работу и он сказал Зиновии, что это ему теперь все равно.

А потом узнал, что со стороны Зиновии это—ложь, что, наоборот, мужики обрадовались, что им приходится платить деньгами, а не хлебом; мужикам выгоднее.

Догадался Аким, что это, конечно, не спроста и стал следить за Зиновией, когда она отдавала ему отчет. И скоро поймал ее, что она утаивает деньги, и чем дальше, тем больше.

Неприятно, противно было это Акиму, но он и вида не подавал, что замечает, ибо страшно боялся Аким, что если он Зиновии об этом скажет, а Зиновия вдруг обидится и уйдет от него — не мог себе без ужаса представить Аким, что может остаться один.

Только ради этого Аким и терпел Зиновию. Но чем дальше шло время, тем все тяжелее становилось терпеть Зиновию, а вместе с тем терпеть было необходимо. Аким уже боялся по ночам быть в доме один, и вскоре после появления Ивана Зиновия переселилась из старой избы к Акиму на постоянное жительство.

Видел Аким, что ведет Зиновия двойную игру: рвет в душе и мечет злостью, что не удается ей увезти его, Акима, куда-то, боится, что не нынче—завтра Иван может повернуть так—выгнать ее из дому, и на ее место поставить своих людей, у которых Аким будет под крепким надзором: (об этом уже Зиновия намекала Акиму) и вот, чтобы не очутиться на бобах, Зиновия не упускала из виду урывать все, что можно урвать.

И смотрел Аким, как она день ото дня все больше и наглее урывает и думал, что на такую опасно положиться, если с ней бежать: вместо отдыха где-то там в благословенных краях, которые она расписывает, отправит эта хитрая и развратная ведьма его на тот свет скорее, чем может отправиться он тут, затем, чтобы заполучить в свое распоряжение его деньги.

И выйдет, что поживет-то она, а не он.

Аким нисколько не ошибался по целому ряду наблюдений над Зиновией, что, несмотря на свои лета, она жадно посматривает на молодежь вообще, а с одним работником на мельнице не сходится только потому, что это для ее планов и для ее положения пока опасно.

Аким даже видел, что Зиновия сошлась бы с этим работником, если бы ей приходилось считаться только с ним, с Акимом: видел, что Зиновия хорошо понимает, как она Акиму необходима, а понимая это, могла связаться с работником, исходя из расчета, что Аким хотя и узнает, но промолчит.

Аким видел, что боится Зиновия главным образом деревенских язычков: узнают и донесут Ивану.

А от Ивана уже расправа будет скорая.

Понятно было Акиму, что эта завзятая „богомолка" по святым местам минуты не будет колебаться в выборе того, кого ей предпочесть—старика ли, как он, или молодого, здоровенного парня лет 25; и на минуту не задумается над тем, что лучше: быть ли в зависимости от Акима, живя на его счет, или—сделаться полной обладательницей всех его денег?

Что Зиновия не остановится ни пред каким преступлением—в этом уж Аким успел убедиться вполне.

Выходило так: бежать с Зиновией, спасаясь от Ивана и вообще от тяжелых условий жизни в деревне—значит глупо

итти навстречу своей гибели; бежать же одному,—когда думал об этом Аким, казалось ему, что лучше уже умереть здесь, в своем родном—пусть неприветливом углу, чем скитаться одиноким и отверженным от своих мест, как Каин, где-то в чужих углах, на чужих людях.

Акиму даже казалось, что если бы Зиновия донюхалась, где у него лежат деньги, она бы и здесь не задумалась в одну темную ночку обделать все сразу: убрать его, чтобы не мешал, каким-нибудь зельицем, захватить деньги и бежать—ищи ветра в поле, а особенно такого, как эта угодница святых мест. Но „донюхаться“ у Акима было трудно. Даже тогда, когда он Зиновии верил, он поступал бы по принятому им давно правилу: не клади плохо, не соблазняй честного. Когда же он Зиновию раскусил—он удесятерил свою осторожность и сумел сбить нюх Зиновии: думала Зиновия, что деньги спрятаны не в доме, где она каждую щелочку высмотрела, а где-то вне дома,—но где? Ведь, не свят дух, не узнаешь. Остается один путь—заставить самого Акима извлечь их. А тогда... И все свои силы Зиновия употребляла, чтобы стать к Акиму ближе, чтобы подчинить его себе, чтобы заставить его бежать отсюда.

И чем сильнее нажимал на Акима Иван—тем более нажимала и Зиновия. Редкую ночь она не мучила Акима.

То приходила к нему, когда он спал, и непонятно было Акиму, как она довольно крупная и грузная пробиралась к нему в постель, как гибкая маленькая змейка, и жгла его своим теплом до тех пор, пока он не просыпался. То приходила с вечера, при огне, с обнаженными плечами и грудью и, на увещание Акима, что как ей „не грех и не стыдно, как-будто с любовной, давно распаленной сопротивлением, яростью, отвечала:

— Греха в этом не вижу, стыда—тоже, но вот—обиду большую вижу! Я женщина... и первая... Но что же я могу поделать с собой, если я люблю... Люблю, Аким Петрович...

Аким знал, что в этой ярости больше злобы, чем любви, и Зиновия становилась ему страшна и противна до того—он грубо выталкивал ее из своей спальни с суровым окриком:

— Говорил и тыщу раз буду говорить: и мне эфто ни к чему и не по летам и тебе тоже! Когда опомнишься—Бога побоишься, ведьма!

Но иногда Аким смотрел на нее. Не молодая—а от головы до пят лихорадочно-знойная и такая грозно, зловеще-прекрасная—верная дочь сатаны!

Он смотрит, а она все ближе, вот уже и дыхание обжигающее и снова, как в горячечном бреду:

— Бей меня... казни меня... но не уйду! не отстану!... Люблю... люблю! Свет мой... ясынька моя...

И думал Аким: глубокая ночь, вся деревня спит и только он, да эта—настоящая ведьма с Лысой горы не спят и борются друг с другом. Кто кого свалит? Кто кого победит? Как мудрен этот желтый дьявол! Вон он как заставляет Зиновию стараться! И как самого Акима заставляет на-чеку быть? А сам где-то в стороне находится и смотрит, как люди из-за него друг у друга по каплям кровь из сердца высасывают, как сталкиваются лбами—искры из глаз летят и, как, наконец, мстят, кто кого поскорее заставит „ножки протянуть“! Хитро, мудро и так смешно—хетелось Акиму захохотать смешком каким-то неизвестным, странным.—Каким? Ясно—только поддайся, только раскрой рот—тогда смешок сам придет, выяснится—может-быть, такой, каким хохочет сам желтый дьявол...

А Зиновия уже вплотную, руки как коварные гады, предательски оплетают Акима: нежит—Зиновия, томит, томит, еще немного и ослабеет он, Аким, и будет тогда ликовать в душе эта ведьма с Лысой горы и хохотать над Акимом желтый дьяволом...

И нечеловеческими усилиями, последними остатками сил отбрасывал Аким от себя Зиновию, валился на кровать и смешным, старческим голосом, безсмысленным и как-будто плачущим, канючил:

— Когда ты, ведьма, перестанешь лезть ко мне, будь ты проклята... Выгоню вон!... Сил нет никаких... Терпенья нет... Двери к спальне приделаю... Запираться буду! Да вот все столяра не найду... горе какое!

Хищно и твердо смотрела Зиновия на Акима: верит в себя, что как не упирается, а все-таки сбудется так, как она хочет. А угроз, что выгонит—не боялась. Понимала, что пустые слова эти угрозы, если за угрозами следует слабый и глупый лепет о „дверях“ и „столяре“.

Уходила Зиновия в свою комнату. Засыпал Аким сном

свинцовым, давящим тяжелыми, беспрерывными снами: то Иван, то Зиновия, то незабываемо отвратительные и свирепые бабы, плюющие в лицо Акиму у источника, то Назар, то Антон, старуха, Семен, то поп и все бывшие кулаки-соратники и комитетчики, то, наконец, Федотка-Косой—все имело для Акима мучительный смысл, страшное значение.

ГЛАВА XXV.

И от этих снов просыпался утром Аким больным, вялым.

Тянуло освежиться на улицу, в поле, хотелось заглянуть на мельницы, в кузницу—не затем, чтобы хозяйское око за порядком последило, а так, просто посмотреть, как люди работают.

Но не шел. А итти было легче, чем раньше: сдержал свое слово Иван—сказал кому-то, а этот кто-то передал всем—и никто Акиму на улице ни слова, ни звука.

Сходил Аким только на погост, а потом—ни шагу из дома: обидно показалось принимать эту милость от Ивана.

И сидел дома. А дома Зиновия, все неустанно убеждающая, что нельзя медлить, надо бежать.

Или Федотка Косой, который как-будто удивился однажды такому факту так, как-будто пройдет Бог знает сколько времени, а Федотка все будет ходить и удивляться.

И нельзя было никак от этого Федотки отбиться. Он приходил каждый день, просил Зиновию—она не впускала, он грубил, дерзил, наконец, угрожал Зиновии „скулы на бок снести“ и не в шутку, и добивался того, что влезал к Акиму.

Начинал с удивления и лести.

— Никак не могу, Аким Петрович, очухаться... Прямо это, как обухом по лбу!... Подумать только: вы, Аким Петрович, первый, так-сказать, наш туз, а я—шестерка, и вдруг... мое почтение!... Вдруг мы с вами свояки! Как значит подумаю, так и мерещется, так и мерещется—не то тебе сон, не то тебе морока наяву.

Рыскал быстрыми, косыми, вороватыми глазками по комнатам, подходил к вещам, ощупывал беглыми, дрожащими пальцами, „добротность“, качал головой—„не дешево, мол!“ и говорил не то тоном порицания, не то одобрения:

— Оно, конешно, немножко как-будто не по правилу и не по закону—по дехрету-то поэтому, будь он не ладен! А может, так и надо: может, чорту долг долгогривому платить не надо, а мы, дураки, платили... Иван Акимыч-то каков? Голова—ума палата! Все науки произошел. Раз говорит мне: я, говорит, читал,—венчанными-то лет триста живут—попы для дохода придумали: а тысячу лет назад, говорит, христиане-то каки были—не чета нам,—богомольные, честные, а невенчанными жили. А по-настоящему—мне все едино: дехрет, так дехрет! Мне первое—зять мой—первая шишка в деревне, тесть дорогой мой, Иван Акимыч—первый туз... Честь можно сказать, не малая!

Федотка-Косой свою дочь Настюху терпеть не мог. У него не было никаких улик, что Настюха не его дочь, он просто судил по внешнему хрупкому виду Настюхи, что такая „у него не может быть“ и просто полагал, что это ни беда, что ни он и никто за его женой предосудительного не замечал—„мало ли кобелей из бар по свету шатается“, а баба, известно, как лиса, хвостиком свои следки заметет“ и, исходя из такого соображения, он лет десять бил свою жену „за измену“.

Искренно он недоумевал пред Акимом:

— Одного, дорогой тестюшка, в толк не возьму: ведь, орел, Иван Акимыч-то, хватка—чорту рога обломает, а поди ты вот сваландался с Настюшей—с кропивницей, с поганкой такой... И что еще—души в ней не чает. И рад я, что такой —хоть дехретный зять у меня, и не рад: разя ему такую бабу надо? Такому орлицу надо, а он—пигалицу! Работать, бывало, никуда, а хлеб, конешно, изводила. Ну, да у меня, Настенька не забалуешься... Как услышу—запищит она за работой, зачиликает, а я с кнутиком подберусь да ожгу разок, другой, третий—рано мол, пташечка запела, нам, мол, чилиликанье-то ни к чему! Так только значит и поработает, и поднажмет. А иной раз—в обморок грохнется. А мне што: хоть бы издохла кляча такая! А теперь вот, поди—какая планида такой клячи вышла. Рукой ее не достанешь и слова сказать не моги: зятек-то каков—чорт-чортом, ежели ей слово поперек—за одно слово горло перервет! Вот и подумаешь: по дехрету, без всякой значит скрепы, а власть над им имеет какую!

Опять Федотка шмыгал глазками по комнатам, мялся потом некоторое время и вдруг начинал говорить с негодованием, а потом с озлоблением, называя Акима уже на ты:

— Ты вот што, тестюшка. Говорил и буду говорить... ты тут хоть убей меня, а буду говорить! Потому—не порядок... не по правилу... Эта ведьма-то у тебя... Зинаидка-то... Трепло-то... Скажи пожалоста, как охранница! По какому такому праву здесь у тебя находится? И по какому такому праву, мне, свояку, к тестю не дозволяет притти? Ты сердись, Аким Петрович, не сердись, а лиха такого, как Зинаидка, тебе не след дома держать. Разворует, растащит и не заметишь как! Дозволь-ка лучше, чтоб моя баба в твоем доме досматривала... Ничего не возьмет, даром услужит родне... Уж я свою бабу для дорогого тестюшки вот как натрафлю — любому барину так услужать не будет, как тебе. Кады придтить-то ей дозволишь? А Зинаидку к чорту гони, тестюшка, в три шеи! Нашел кого держать в доме — непотребную... прямо зазор, срам!

Знал Аким, что бесполезно говорить с Федоткой путем доказательств — Федотка ничего „в резон не принимал“ и настаивал только на своем.

И потому Аким прибегал только к одному способу.

— Вот што, тестюшка—уходи-ка от меня. Прямо терпенья нет—ей Богу, Ивану скажу.

Когда-то, лет десять назад в лесу при большой дороге в городе завелся какой-то бродяга, которой пощипывал и конных и пеших. Он совершил несколько убийств, полиция несколько раз устраивала на него облаву — и не уловила. На несколько деревень он нагнал такой страх, что мужики в одиночку, а то и подвое, боялись ходить и ездить по большаку. Устраивали несколько раз свои деревенские облавы— и тоже без успеха.

Тогда вызвался Федотка за сто рублей уничтожить грабителя—ему обещали собрать эту сумму по раскладке на несколько деревень.

Федотка пошел с вилами, пропадал три дня, а на четвертый, когда уж думали, что погиб Федотка, он вернулся, притащив мертвого грабителя на вилах. Федотка при столкновении с грабителем, пострадал левой скулой, на которой зияла глубокая рана от удара топором.

От этой раны остался на скуле широкий и глубокий шрам и этот шрам придавал Федоткиному лицу выражение самого свирепого, самого от'явленного разбойника.

Многие в деревне побаивались Федотки и говорили, что если быть при деньгах и встретиться с Федоткой в уединенном месте, то „и каюк будет“.

И вот такой Федотка при первом упоминании Ивана, уходя, трусливо бормотал:

— Ну, вот уж и Иван... Зачем Иван? Зять-то он мне зять, а что в роде он бешеной собаки—это тоже верно. А с бешеной собакой зачем встречаться? Лучше обойти эту схватку...

Было известно, что когда Иван предложил Федотке отпустить из дому Настюху с ним, как жену, Федотка высчитал, что работница Настюха никудышная, а хлеба неменьше с'ела, как тысячи на три и потребовал с Ивана эту сумму.

Тогда Иван просто взял Настюху за руку и хотел увести, но Федотка вздумал застоять свое право на дочь кулаком и только раз успел ударить Ивана. А дальше уж Иван бил Федотку. Как бил—об этом трудно догадаться.

Рожа у Федотки была цела, а всем он жаловался:

— Так-то душегубы только бьются!

И когда Аким смотрел вслед трусливо уходящему Федотке и думал: „и тут желтый дьявол“ и знал, что и завтра и после завтра будет приходить этот Федотка — до тех пор, пока не сказать Ивану, то так тошно становилось Акиму от своего бессилия — думал он,—что в такой зависимости от сына и жить не стоит.

ГЛАВА XXVI.

За день до смерти пережил Аким последнюю вспышку.

Около двенадцати дня ударили в набат. Всполошился Аким. Как ни богато всякими событиями было время после февральского переворота даже в глухих углах, но набат— все-таки редкость.

Значит, что-то особенное. И Аким решил пойти.

Около своего дома Аким встретил мужичка, лицо которого превратилось в какое-то пятно, жирно и противно за-

литое животным довольством. Ничего не говоря, мужичок широко распахнул объятия и полез было к Акиму лобызаться.

Уклонился от объятий Аким, спросил брезгливо и строго.

— В чем дело?

— Как? разве не знаешь? Светлое Христово воскресенье— да получше того, што недавно было,—вот в чем дело! Манихест от нового царя вышел. Сгинула свобода—эта проклятая—капут, слава Богу! Теперича, значит, настоящие порядки надо бы навести... Перво-наперво слободчиков надо уму-разуму поучить... Довольно, попили нашей кровушки! Кого надо так,—штобы в печенках память осталась,—полегше, значит, а кого и на осинки придется вздернуть...

Голосок у мужичка—говорит о страшных вещах, а напоминает тех животных, которые наслись до отвала и блаженствуют: поуркивают да похрюкивают.

Поморщился Аким. Настолько не заслуживающий доверия человек, что и говорить, пожалуй, с ним не стоит. А все-таки не удержался и спросил:

— Ну, манихест, и все там прочее—откуда эфто? Может, сорока на хвосте принесла?

— Ну, зачем сорока? Говорят... люди!

— Говорят... Говорят—кур доят.

— Уж и куры... надо полагать... правда!

— Я вижу, что тебе-то хочется „полагать", ну, а всетаки надо думать... „Говорят"—эфто мало, надо суть хорошо знать, тогда уж и звонить языком!—сказал желчно Аким и пошел от мужичка, который и не подумал смутиться: так ему хотелось верить, что правда.

Но сейчас же мужичку „судьба" преподнесла испытание. Быстро, как из земли вынырнул, к мужичку подскочил один из тех двух солдат, которых некогда „уму разуму поучили" уже и, с криком: „А... тебя-то я и ищу! Народ зря смутьянишь... Контры-революцию разводишь .. Вот, получи"—нанес мужичку несколько крепких ударов.

Обернулся Аким, увидел—мужичок уже валяется на земле и лицо его залито уже не прежней радостью, а кровью.

— Дай ему, чорту безголовому, еще, чтобы без всяких оснований о манихестах не болтал!—сказал злобно Аким.

Лицо у солдата было больное: бледное, в красных пятнах, исступленное—дрожала бородка клинышком, дрожал рот с сухими, белыми, потрескавшимися губами, двигались на скулах сердито складки кожи, горели мрачным, решительным огоньком глаза. И хотя солдат понял слова Акима, но не смягчился против Акима, а ожесточился больше: он еще крепче припер грудь мужичка к земле—так, что мужичок хотел, что-то крикнуть, но вышло—невнятное что-то, захрипел. Захрипел и солдат:

— И дам! Без твоей указки рожу хуже задницы сделаю. А ты, чужбинник проклятый, не подделывайся, хвостиком-то не виляй: ты у меня внутре сидишь... помню и в век не забуду! Теперича иные песенки-то пойдут... Теперича ты мне хоть нож наставь... хоть тышу мироедов, как ты, поставь—не посмотрю... Полезу! Все равно умирать-то когда-нибудь надо—так умирать лучше за правду... Сынку твоему, Ивану Акимычу, по гроб благодарность: научил, просветил!... Глазыньки-то теперича по-иному открыты... Ну, ну, ты, чорт, кровосос, не дрыгайся!

Аким резко отвернулся от солдата и пошел. А вслед ему доносилось—тяжелая возня двух тел, какие-то непонятные отрывки, придушенных в самом горле, слов, получеловеческое, полу-звериное рычание и какой-то странный, мерный, следующий один за другим—режущий ухо звук: как-будто по мокрому кто-то ляпает мокрой тряпкой.

Шагов через десять Акиму встретилась Зиновия. Она была очень возбуждена, радостно взволнована и так неслась с радостной вестью к Акиму домой, что не сразу остановилась—немного минула Акима. Вернулась и, по обыкновению, сметливая,—рта не дала раскрыть Акиму:

— Манифест? Новый царь? Не знаю как... болтают сильно... а верно ли? Правда, не бывает дыма без огня, а все-таки... с манифестом и царем-то обождать надо.. Проверить! Если верно—то, надо полагать, старое начальство приедет и объявит... А лучше всего, пока што об этом—молчок! А вот што верно: „председателя-то Совета Ивана Акимыча" (Зиновия это с злобной радостью подчеркнула), пожалуй, уж можно и за упокой записать! Не то ухлопали совсем, не то— на ладан—дышит. Ну, да это почти все равно: день—два—не беда... Доходился-таки, молодчик... Разбойник из разбойников.

Одно только слово Аким сказал, а как-будто на аршин вырос:

— Где?

— В Грабове.

— Может, зря болтают?

— Непохоже. Человек оттуда прискакал один—грабовский, и тоже из Совета, Ванькиной партии. С Ванькой они ехали—оба верхом куда-то пробирались. Ну, а в леске-то, что от Грабова недалеко, их встретили. Прежде человек шесть—пешечком, будто встретились. И разговор такой с Ванькой завели—сошел Ванька с коня и разговором этим так доволен—рад, говорит, я почтенные, если вы так думаете... Ну, а потом один из этих почтенных,—самый могутной, кулачище с пуд!—как хватит сзади Ваньку по затылку—Ванька сразу ткнулся носом в землю! Они на него все шестеро навалились, а там, глядь, из лесу прут еще человек пятнадцать. Ну, этот, грабовский-то, видит, дело плохо—засада!—и сам может попасть—стегнул лошадь и давай прыти. Без оглядки, а сам слышит, как кричат: „Это, кричат, тебе за Совет... не устраивай Совета. А потом уж и из пистолетов палить начали. А потом грабовский видит—жеребец Ванькин его догоняет. Испугался стрельбы и мчится. Так с грабовским и примчался сюда.

— А жеребца-то видела?

— Ну, вот... Иди и ты посмотри. Около колокольни привязан. Теперь этот грабовский помощи от нашего Совета ждет. Народ, мол, собирайте и в Грабово айда—Ваньку живым или мертвым выручать и суд с грабовским народом над этими засадчиками производить. Вот и бьют в набат.

— А как думаешь,—жив или нет?

— Где... Скорее—нет.

— И я так думаю...—просветлел Аким.—Надо полагать, эти засадчики-то не шеромыжники какие безмозглые, а из нашего брата—степенные, рассудительные... Вот и надо думать—рассудят, чтобы такую птичку, как Иван, живой из рук не выпускать: глаза, окаянная, выклюет! Везде па дороге, как лихо проклятое, встанет. Вот как мне встал...

Помолчал Аким немного и вдруг сказал с такой страшной злобой—даже Зиновия взглянула на него удивленно:

— Вот как теперича подумаю, как меня было сыновья скрутили, как голову мне обморочили, руки-ноги связали и будь бы здесь сейчас моя старая чертовка—кажись, убил бы ее на месте. Кого она мне народила? Откуда такие черти скаженные—от меня, да не в меня! Как придавили-то, как за горло-то было схватили? Што я разбойник на большой дороге был, руки в крови купал, капиталы свои когда зашибал? Ничего такого за собой не знал. Продавал, покупал, наживал, как все коммерсанты—што тут зазорного? А сбили они меня с панталыку так: думал о себе, как о самом последнем человеке. До чего довели: рожу мне бабы заплевали! Ну, я нажитчик, да не грабитель, ведь, купец, каких миллионы, да каким уважение, почет по капиталу оказывают, а они, сынки-то—все как-будто святые: денег не любят, наживать их не хотят, и всеми еще к тому, кто наживает, брезгуют, смотреть на таких не любят. Святые! Ежели святые—иди в монастыри, в скиты, как святые настоящие делают. А не путайся меж людьми, не мешай работать другим, не морочь головы. Прямо теперича, я тебе скажу, Зиновия, я головы не приложу: как я им так дешево дался? Ну, Ванька туда-сюда: разбойник дествительно такой—поискать надо. У, чорт, как вспомню—так дрожь берет. Ну, а Антошка—тот уж очень тих. Ну, и плевать бы на него, а нет—тоже я из-за него головы не мало забил. Даже слабоумный Семка и тот меня под послед уму-разуму учил. Времячко! Нечего сказать... Ну, да ничего, страшен сон, да милостив Бог. Оправимся!

— Да еще как, Аким Петрович!—Зиновия взяла руку Акима, пожала ее мягко, нежно, по-женски и добавила: А я теперь побегу узнать насчет манифеста и царя. Откуда это идет? Кто такое пускает? Правда ли?

— Иди, иди. Старайся!—и Аким благосклонно улыбнулся.

Шел Аким дальше и чувствовал, что сила в нем растет, бушует, рвется на простор, на размах—точь-в-точь как в человеке, который только-что поборол тяжелую болезнь. Правда, точно кто-то другой в Акиме, более мудрый и осторожный, предостерегал, что рано еще радоваться, но гнал от себя Аким эти мысли прочь, как ненужные: ясно было Акиму, что если жеребец Ивана примчался без хозяина—значит хозяин попал в переплет.

Знал Аким, что те люди, которых Аким называл „степенными“, „рассудительными“ уж в чем-нибудь другом промашку дадут.

Самое худшее, что могло случиться: это — били били Ивана, да не добили. Но тут уж страшного ничего нет: поваляется Иван три дня, неделю, ну, месяц, ну, два от силы, если он так здоров, но чтобы он на ноги поднялся, этого Аким не допускал.

ГЛАВА XXVII.

Встретил Аким бывшего председателя земельного комитета и весело спросил:

— А слышал, что с моим Ванькой в Грабове приключилось?

— Слышал! — раздраженно ответил бывший председатель:—Да только, что из этого?...

— А то: Ваньку—этого чорта скаженного, за упокой запишем, а потом дела свои поправлять начнем. Говорят, манихест вышел... новый царь объявился... Лопнули, значит, эти большаки-то проклятые... Капут им! Ежели правда—уж и поработаем!

— Манифест... новый царь... Чорт их знает, болтают, что там то и там-то — за 40 за 50 верст уж по селам этот манифест объявляют. Да плохо я верю. Я теперь только в то поверю, когда сам увижу, сам услышу. Потроха-то во мне вот отбили, гниют они, чаврю я и вот верю: скоро я издохну! Ты, вот я вижу, чуть не прыгаешь от радости, что грабовские твоего Ваньку кокнули, а я тебе скажу: обожди маленько! Вот когда увидишь его своими глазами—увидишь, что у этой падали проклятой ножки протянуты, или хотя бы—жив-то жив, да глаза уж под лоб закатывает,—тогда и радуйся. Смотри, может еще у сынка не так попляшешь.

— Уж и попляшу! — и Аким засмеялся — теперь-то уж наверняка так: пусть прежде рак свистнет—тогда и я попляшу. Коня-то его видел?

— А што конь?

— А то конь: не ушел бы от него конь, ежели бы его не смяли.Ты вот по себе знаешь,—и Аким лукаво и весело прищурился! Как вообще мужик бьет: дурацки бьет, без соображения... Помять он тебя помнет—и в иной раз крепко,—

ну, а штобы он кокнул совсем—редко эфто бывает. Ну а ежели мы,—как нас зовут там парша всякая—пусть зовут!— мироеды, ежели мы, мироеды, такого, как Ванька, бить станем, ежели он в руки нам попадется—так мы дух в ем оставим? без соображения его бить будем—побили и бросили? Так и грабовские... Не дураки ему засаду приготовили, надо полагать...

— Кто там приготовлял—я не знаю, а какой он жох—это знаю. У меня комитетчики из разных мест бывают и рассказывают, что он выкидывает. Как бешеная собака какая: где побывал раз, два—там люди бесятся. То жили люди ничего себе — ни хорошо, ни плохо, средне; ну, конешно, не без того—поссорятся, побранятся, подерутся, а все-таки помирятся; ну, а где он, твой сынок, затесался—там уж такая свара идет—вчистую люди друг с другом хотят разделаться... Одним словом, у твоего сынка-то, война так война: не на живот, а на смерть!

Приятно было Акиму слушать бывшего председателя.

И жалко: умный мужик, с которым не раз всякие дела обделывались, — а теперь он пропадает. И сказал Аким примиряюще:

— Ну, да што о нем говорить: страшен сон, да милостив Бог. Был да сплыл.

— Думаешь, что сплыл?—и бывший председатель желчно улыбнулся: может, он-то и сплыл, а щепочек после него столько осталось... Вон посмотри-ка, что там делается? Я только сейчас оттуда...

Взглянул Аким — неподалеку, у одной избы телега, окруженная кучей баб и несколькими мужиками.

Пошел туда. В телеге—молоко, сметана, яйца, творог масло.

Шум вокруг телеги был большой и ожесточенный.

Вслушался Аким. Оказалось, отправляли бабы свои продукты с одним мужиком и бабой и давали им наказ—почем продавать.

Набрасывали сразу полтинниками, рублями— и все казалось мало.

Баба, ехавшая с подводой, тоже участвовала в этом и с азартом кричала:

— Нечего жалеть этих баржуев—нас не жалеют. Бело-

горлики несчастные... Кокарды наденут, а жены ихпия—шляпки—и мы не мы! Давить всех этих чистоплюев!...

Мужик же был смущен и нерешительно мямлил:

— Да уж я не знаю как... Как-быдто неловко... Позавчера яйца трешка—а ныне четыре, масло—семь фунт, а ныне—девять, молоко—руп кружка, а ныне—полтора. Как-быдто неловко: почему такое сразу? И завсегда так... В роде как шкуру дерем... Без стыда... без совести...

— Четыре?—пять дадут! Девять?—Красненькую надо взять. Врут, дадут: жрать-то надо. Вези, чаво там еще болтаешь, чорт сопатый, стыд, совесть нашел!—злобно рубила одна пожилая баба.

— Да мне што!—колебался мужик:—я повезу. Да только как вон из Совета... Будет дозволение—и поеду... Вот придет Козьма—дозволит... И поеду.

Бабам, видимо, приход Козьмы не нравился и они всеми силами старались проводить подводу до прихода Козьмы.

Стоял Аким, слушал и ненависть поднималась в нем к жадности баб и нашептывала ему, что разве можно любить такой народ?

Прибежал Козьма. Бывший фронтовик, молод, лет под 30, в полной солдатской летней форме. Вооружен до зубов: винтовка за плечами, за поясом револьвер и шашка, в руке—ручная бомба.

Вид такой—страшно некогда по важному делу, а тут надо убивать время на мелочи—и потому очень сердит. В Совете—важная шишка: товарищ председателя, а так как за последнее время председатель пропадает по разъездам—вертит и правит всеми делами в Совете. Голос—надорванный, с хрипотой—много говорить приходится.

Взглянул Аким на Козьму с любопытством. Знал его парнем призывного возраста—служил Козьма на действительной службе. С действительной службы на войну пошел, явился совсем недавно, когда уж Совет на место комитета составился и сразу попал в Совет товарищем председателя.

Слышал Аким про него, что „оратель замечательный", в солдатском Совете где-то депутатом был.

Козьма долго и слушать не стал.

— Знаю, знаю, Иван Акимыч уж говорил, чтобы меры припять.

— Прямо бессмысленный грабеж идет. Почем цены назначили?

Побоялись бабы—сбавит мол, Козьма! И начали было объяснять цены с новой надбавкой: яйца—пять рублей, масло—десять, молоко—два рубля.

— Не вас спрашивают!—оборвал их Козьма и обратился к мужику: чего мямлишь? Говори скорее.

Сказал мужик. И постановил Козьма:

— Яйца—два рубля, масло—четыре с полтиной, молоко—75 коп. кружка. А за то, чтобы эти, чертовки мокрохвостые, не обманывали—скинь еще малость: яйца—1 руб. 50 коп., масло—3 р. 50 коп., молоко—50 коп. Ну, трогай! Да смотри: если дороже продашь—отвечать пред Советом будешь. Я потом справлюсь там—по какой цене продавал...

Шевельнул было вожжами мужик, но взвыли бабы, лошадь под уздцы схватили и продукты свои обратно по домам растащить угрожали.

Особенно безобразничила одна пожилая баба, крича бесстыдно:

— Ежели такой ваш Совет—плевать нам на такой Совет! Подумать немысленно: своим добром мы не можем распоряжаться!—Может, нам еще Совет скажет,—сколько раз нам в неделю с мужьями дозволяется спать?

— У меня не орать и не безобразничать!—не громко, но внушительно сказал Козьма и сердито ударил свободной левой рукой по телеге.—Вы не дерите глотку про городских: „мы не мы". И у городских—дураков и дур не мало, но и вы не весьма хороши. Если про городских думаете, что они „мы не мы", так и про себе не забывайте: „посторонись мол, грязь,—навоз едет! Я не посмотрю, что вы бабы. Растянуть вас при всем народе, да штук по десять горячих всыпать за жадность. Сами не понимаете, черти безголовые, что делаете! Ну трогай, дядя, чего заснул?

— Не пустим! Разберем!—завопили бабы.

— Ну, разбирай, кто хочет,—и Козьма злобно мотнул головой.—А потом со всех таких по пятьсот рублей штрафу. Не шучу! Некогда мне тут, чорт вас возьми, сегодня с вами возиться.

Почувствовали бабы, что действительно „не шутит" и мужик тронул лошадь. Тут и вмешался Аким:

— Погоди ты: куда прешь!—крикнул он мужику и даже руку к телеге протянул:—Што такое, в самом деле за жисть: ежели своим добром распорядиться нельзя без Совета! Кому дорого—тот не покупай. Спокон веков так ведется.

— Языком болтай, а руки прочь!—повысив голос, сказал Козьма и левой рукой—ребром ударил по руке Акима.

— Ты не дерись—и Аким прежде вспыхнул, потом побледнел.

— Я только руку убрал. А когда буду драться—то уже будет много похуже.

Они стояли друг против друга, оба злые, решительные. Аким молчал так вызывающе, как-будто, собирал все силы своего ума, воли, изворотливости для того, чтобы разбить в пух и прах действия Козьмы. А Козьме, очевидно, было некогда, и он нетерпеливо бросил:

— Перезабыл я тут всех. Кажется, я с папашей Ивана Акимыча имею дело?

— Он самый.

— Он самый? Очень приятно.—В тоне Козьмы звучала насмешка.—Ну, что же, папаша Ивана Акимыча, мне скажете?

— А то скажу...—веско начал Аким—во-первых, про Ивана Акимыча пора перестать вспоминать: был да сплыл. В поминаньице Ивана Акимыча следует занести—это верно; а тут, при делах всяких теперь Иван Акимыч лишняя спица в колеснице: мне верные люди передали, что Ивана Акимыча уж в живых нет, а ежели так, чудом каким уцелел еще—так все равно на ладан дышит. Это, первое. А дальше,—может, ты, молодой человек, и кавалер какой заслуженный и в военных делах, может, голова дельная, а вот уж насчет того, как здесь действуешь,—я скажу: круто действуешь. Но не всякое круто бывает умно. Надо понимать, молодой человек (властность, суровость и убедительность тона Акима поднялись до большой силы), прежде чем действовать, што ты делаешь и к чему это поведет. В народе завсегда много было злобы, да только эту злобу раньше таили, скрывали; ну, а с войной-то этой проклятой—взбесился народ и пошла злоба прямо через край. Взгляни-ка, молодой человек, на баб: хороши с рыльца анделочки? Думаю я, что и в аду таких анделочков поискать. Вот на эфту злобу и жадность, какую в бабах вижу, противно мне смотреть. Видишь—не защищаю их! Но и в том молодой человек, как ты действуешь—не одобряю тебя, весьма не одобряю! Злобы и без того много, а ты—масла в огонь льешь. Надо эту злобу стараться как-нибудь утишить,—а ты разжигаешь.—Ну, постыдил их—как, мол, не грех, как не стыдно?—А ты как: растянуть при народе—это бабу-то!—десять горячих всыпать, штрафу пятьсот рублей! Оно, может, таким порядком, таким силом, да угрозой раздва и сломишь, а дальше-то упрешься: и злобу питать будут и ни молока, ни масла капли не дадут. Тут ежели с умом—так надо так: вольному воля, спасенному—рай! Ежели добрым словом с иным человеком ничего не поделаешь,—так на такого остается только рукой махнуть. Вот как я, молодой человек, понимаю. А вы, как я вижу, начальство теперича наше, капралы наши, палки здоровые в руки взяли и думаете: замордуем, мол, народ так, чтобы вся рожа в кровь и под глазами фонари—вот и толк будет! Да только, товарищи любезные, шибко ошибаетесь. И до вас в народе было много темноты, злобы и жадности, а при вас будет еще больше. И достукаетесь только до того: выведете народ из терпенья и он уж вас замордует так—до гробовой крышки! Вот и всей вашей сказочке конец.

Угодил бабам Аким—и затараторили они на разные лады, что вот это—правильно, что если бы с ними „по-хорошему“, добрым словом, тогда бы и они иначе держались.

Был зол до этого Козьма, а тут как-будто сразу простыл, даже усмешечка на лице появилась—на первый взгляд, как-будто безобидная, а вглядеться получше—жуть охватит. И когда он пригрозил бабам кое-чем—показалось, что может это сделать и глазом при этом не моргнет, на секунду не задумается.

— Ну, вы, какого чорта, раскудахтались. Замолчите! А не то брошу вот эту штучку в вашу кучу—(Козьма показал бомбу)—хорошая каша будет! (К Акиму обратился). Ты уж извини, папаша, а говорить я с тобой буду по-настоящему: не как ты—без уверток. Хорошо ты поешь, да только где сядешь? Вот что интересно!

Сына, папаша, хоронить погоди: это всегда успеешь. Ну, а ежели—правда твоя будет—дорого Иван Акимыч

грабовским миросдам обойдется. Всех этих пауков, которые ему засаду устроили — всех переловлю, в одну кутузку напихаю, помолиться дам, а потом вот этот подарочек им и пошлю. (Козьма опять показал бомбу — слегка подбросив ее на руке, отчего не только бабы, которые шарахнулись в стороны, как испуганные овцы, но даже и Аким попятился назад). Боишься, папаша? Что и говорить — штука такая, которая шутить не любит. И если грабовские пауки действительно укокошили Ивана Акимыча — будет от них такая мешанина, какой и на бойне не встретишь! И хорошо эту мешанину показать всем, кто любит засады устраивать. Собрать со всего уезда, да и тебя, папаша, присовокупить: одного ведь поля ягода! И ткнуть носом всех в эту мешанину, чтобы поняли, что иногда за засады может быть. Это, папаша, я поговорил с тобой шутя, а теперь — серьезно. Злобы, говоришь, в народе много? Добрым словом ее советуешь выводить? Хорошо, мы „молодые человеки“ можем ошибаться. Ну, а вы старые, опытные люди, чем эту злобу выводили? Мы капралы без году неделя, а вы капралили над народом с урядниками, попами, помещиками сколько сот лет? Ну, а где же ваше доброе слово было? То, что злобы в народе много — вы видели; то, что злобу выводить нужно добрым словом — вы понимали. И времени у вас, у старых, опытных людей выводить злобу добрым словом — было вдоволь, было сколько угодно! Но почему же злобы у народа осталось много, почему не было слышно, что такие добрые люди, как Аким Петрович Боголюб народ от злобы добрым словом избавляют? Почему было слышно другое: где уже от Акима Петровича требовать доброго слова для чужих, если он для своей семьи, — для жены, сыновей своих, снох и даже детишек — внуков и внучат доброго слова на своем языке не находит? Почему было слышно другое: Аким Петрович Боголюб православный человек, в церковь ходит, в церкви слушает, как Христос людей заповедал любить, „возлюби ближнего, как самого себя“, Аким Петрович даже с духовным лицом дружбу имеет — с попом хлеб-соль водит, но, несмотря на все это, почему-то слышно про Акима Петровича все одно и то же: лют Аким Петрович и к своим и к чужим, хуже всякого лихого татарина?

Бабы уж немного забыли, что этот Козьма угрожал и

угрожает их интересам, и слушали внимательно его, а на Акима уже посматривали косовато.

Заметил это Аким и хотел что-то сказать, но Козьма ему не дал.

— Поговорим как-нибудь потом, а сейчас некогда: надо, Аким Петрович, спешить вашего сына выручить, а насчет баб—дело тут не только в том, что их жадность противна. Разве эти безмозглые курицы революцию делали? Городские рабочие революцию сделали, они Свободу всей России дали, а теперь, что получается? Каждая паршивая бабенка может теперь морить этих рабочих голодом. Это разве допустимо?

И Козьма махнул рукой мужику: трогай, мол.

И это одно движение руки было настолько властное, сильное — Аким не нашелся, что сказать, мужик послушно тронул лошадь, бабы — ни одна рта раскрыть не посмела, что их продукты пошли на продажу по цене „божеской“, а не грабительской.

Ушел Козьма. Посмотрел ему вслед Аким и тоже пошел прочь от баб, которые по уходе Козьмы тотчас же злобно загалдели, что „это не жисть, ежели своим добром, как хочешь, распорядиться нельзя“.

Шел Аким по меже, видел свежую пахоту, дня три-четыре назад засеянную яровыми хлебами, припоминал, что часть этого сева произведена из семян, которые Иван выгреб из его амбара, и злорадно, горделиво думал, что не может этого быть, чтобы не вернулось то времячко, когда за эти семена ему дорого поплатятся.

Верил Аким, что отпала власть царя, помещиков, но власть деревенских Акимов падет еще не скоро.

Теперь, когда Аким полагал, что его сын Иван уже не стоит ему на дороге, Аким надеялся, что со всеми остальными врагами он справится.

Встретился Акиму поп. Поздоровались.

— Слышал, что моего разбойника, Ваньку, пожалуй, уж пора и в усопшие записать? — спросил Аким.

— Слышал. Ну, и что же?

— А то же... Ваньки моего не будет, а на Кузьму мне наплевать... Теперича мы себя покажем...

Вид у попа был унылый и уныло он махнул рукой:

— Хорошо бы, Аким Петрович, да только смотри — не

прошибись и тут! Этот Кузька-то тоже не хуже твоего сынка: за словом в карман не лезет — умен, и человека ему, как видно, убить — ровно плюнуть! И откуда они, такие анафемы, стали браться?

— А я, рази, говорю, что — глуп? Сичас я от него такое слышал — хочет гнуть кое-что под корень... Против копеечки воюет. Вот и думаю я, что сломает на эфтом Кузька голову. Тут таких заковык нагнуть можно—ни один такой Кузька, а десять—к чортовой матери полетят. Поэфтому, батюшка, заглянул бы ко мне денька через три—у меня уж в голове плант навертывается такой, што отдай все, да мало. Вот и обсудим вместе, как и што, а потом и действовать станем...

— „Плант“? Смотри, как бы за этот плант нам не попало?—сказал уныло поп, но взглянул на Акима и, как-будто поверил, что действительно многое еще может сделать Аким, и добавил:—а впрочем что ж,—заглянуть не мешает. Может, и в самом деле, у тебя какой-нибудь хороший план есть. Плохо, Петрович... Совсем плохо... И твой сын, и этот Кузька испортили народ: никаких доходишков, никакой лепты от прихожан - златницу на черный день уж не отложишь!

Ничего не сказал Аким, только усмехнулся, но понял поп, что зол на него Аким за то, что не так давно он не принял его, и не скоро это забудет. Но все же, имея впереди одну цель, подали друг другу руки, точно никакой черной кошки между ними никогда не было.

Шел Аким дальше—думал о предстоящей борьбе с Козьмой и злорадно улыбался. И ничего из того временного просветления, от тех чувств и мыслей, какие пережил Аким от столкновения с Антоном и Иваном, у Акима не было. Наоборот, было озлобление, что его, Акима, так было затоптали, так замяли, что теперь ему совершенно нечего считаться с кем бы то ни было.

Видел Аким богатый всход озимых хлебов, видел, как по свежей пашне яровых полей важно прохаживаются грачи, и хотелось Акиму хоть на минутку остановиться, задуматься над чем-то иным,—далеким от того, что он думал.

Тишина полей, необозримый простор хлебов, небо над головой, кормилица земля под ногами—жирный, тучный чернозем, несмотря на то, что столетия мужики плохо его

удобряли и плохо обрабатывали сошкой „на вершок—па два“—хотелось Акиму остановиться и поразмыслить над чем-то более важным и более примиряющим и с людьми, и с жизнью, чем думал он.

Но не остановился Аким. Моментами Аким чувствовал, что если задуматься над этим „более важным“, тогда сразу отойдут куда-то в сторону и Иван, и Кузьма, и все, что его озабочивает теперь, что думать над тем „более важным“ гораздо легче, но Аким все шел, точно помимо своей воли, точно кто вел его все вперед и вперед.

И через некоторое время и тишина полей, и необозримый простор хлебов, и небо над головой, и земля под ногами— все уже это шло мимо Акима, и думал он, что нечего останавливаться над тем, что тысячи раз видано да перевидано.

И владела Акимом уже одна мысль безраздельно, что надо во что бы то ни стало вернуть свое господствующее положение, что надо стереть всех своих врагов с лица земли.

И шагал он—эта темная и страшная сила деревни, владычество которой над убогим, забитым сознанием деревенских обывателей во сто крат сильнее, чем владычество царей, ибо цари далеко, а эта темная сила всегда около мужиков. Шагал, преисполненный такими мрачными, злыми замыслами, что если бы Акиму показать в это время в зеркале его лицо, может-быть, он сам бы даже попятился от своего лица, не признав его за свое: до такой степени оно было искажено злобой и ненавистью.

Уж ни на один миг не думал Аким о том, что он вновь и даже, может-быть, больше, чем когда-либо, опять во власти той черной тени корыстолюбия и жестокости, которая никогда не давала ему радости, душевного мира, а всем, кто соприкасался с ним—даже близким семейным—давала только горе, слезы, нужду и глубокие обиды.

Он помнил только то, что за последнее время он унижен, оскорблен, что его благосостоянию угрожает опасность, а то, что он всю свою жизнь только и знал, что оскорблял и унижал людей, только и думал, как бы на несчастьи людей нажиться еще больше,—об этом он забывал совершенно.

ГЛАВА XXVIII.

Вскоре увидел Аким мужика, трудящегося над пашней, и прошел бы мимо него, если бы ему не бросилось в глаза одно обстоятельство: уж очень мужик старательно пахал.

Подошел Аким. На низкий и робкий поклон мужика—едва повел головой и процедил сквозь зубы:

— Бог помочь, Афоня!

— Покорно благодарим—ответил мужик и остановил свою лядащую лошаденку.

То, что у всех яровые поля уже засеяны, а Афоня свою полоску только еще пашет—это на Афоню было похоже.

С темным, землистым цветом лица, с жиденькими волосиками, сбившимися в пряди на лбу и мокрыми от пота, с унылым—не в эти минуты, а точно вечно унылым взглядом темных, глубоко и скорбно впавших глаз, с ног до головы длинный, сухой и нескладный, как жердь, в рваных и ветхих из пестрядины портах и рубахе, подпоясанной вместо пояска веревкой,—стоял Афоня перед Акимом почтительно, боязливо, как-будто, опасался, что вот-вот его сейчас ударят—стоял, как забитая запуганная бедность, которая почти уже не считает себя за человека и не надеется выбиться когда-либо в так называемые „люди“.

И всю жизнь свою был таким Афоня. Остался после отца 24-летним парнем, женился на старой девке, ибо из молодых девок никто за него не шел, через год овдовел—умерла жена от родов, а ребенок, мальчишка, жив остался: выходила соседка на рожке. А дальше—подрос мальчишка на чужих людях: где день, где два, где неделю проживет.

А Афоня уж и не пытался жениться вторично. Жил бобылем, год свою полоску земли кое-как обработает, но всегда позднее всех: люди уж засеяли, а он или боронит, или еще только пашет. А на другой год и совсем о своей земле забудет, точно у него никакой земли и нет. Сидит в избе или около избы—и думает. А о чем—толком у Афони не добьешся. Засеет кто-нибудь его землю, когда он о ней забывал, и даст ему за пользование его землей немного хлеба—спасибо скажет; не дадут ничего—не спросит.

А в общем жил Афоня, хотя и несыто, но и не голодно: жалели его бабы за то, что он тих очень,—и тащили и открыто, и украдкой от домашних, кто хлеба, кто пару яичек, кто картошки.

Правда, поругивали иногда, что „сидпем-сидит“, но слегка и редко. Чаще находили:

— Богом убит! Чаво с него спросишь? Такого и судить —грех!

Подрос сын—парень здоровый и на работу жадный: когда по чужим углам жил, часто слышал, что потому и бедность у его отца, что не работящ—и вник парень. Свою землю постарается пораньше обработать, потом к чужим „на помощь“ идет, а кончатся все деревенские страды, то у помещика на молотьбе работает, то в городе,—чем только придется копейку зашибает: дрова пилит, снег чистит, никакой низкой платой и черной работой не брезгает.

Но много работая, был также беден, как и отец; все пропивал и в карты проигрывал.

Мирно жили Афоня с сыном: Афоня на сына не роптал, а сын на отца не сердился. Но зато от сына Афоне почти ничего не перепадало: что сын заработает, то все целиком и спустит на вино и карты.

Сидит Афоня на завалинке у своей избы—спросит кто нибудь:

— Афоня, а Митька где?

— Митька? А где ему быть? По времю, надо полагать, —на пашне.

— На пашне? А ты-то почему не там?

— Я?. У меня сын есть: он вспашет!—и задумается о чем-то.

А когда взяли Митьку на войну и вскоре убили—отвечал Афоня, когда его спрашивали, почему он не на пашне:

— А к чему мне пахать? Где у меня сын,—Митька-то, —убили?

И опять задумается по-старому—уныло, безнадежно, ему смерть сына, повидимому не прибавила лишней горечи, а только лишний раз подтвердила, что незадачлива жизнь у Афони, и сколько он ни бейся, ни рипайся, все равно свою жизнь не улучшит: а поэтому уж бесполезно и рипаться —опусти голову и руки и жди покорно, когда смерть придет.

Избенка у Афони стояла без сеней и изгороди: когда взяли Митьку на войну—извел Афоня мало-по-малу и сени, и изгородь на топливо. После же февральского переворота вскоре дал земельный комитет Афоне на сени и на изгородь из бывшего помещичьего леса два воза молодого

дубняка—походил Афоня около этого дубняка дня два-три с топором в руках, а потом забыл о нем.

Так и лежал дубняк около избы. Ходили мимо мужики и иногда шутили:

— А сени-то у Афони все полеживают!

— Пусть лежат,—пригодятся! Умрет Афоня—гроб ему сколотим.

А кулаки, когда заходила речь о том, что надо бы самую горькую бедноту в деревне „всем обчеством на ноги поставить"—кричали:

— Хорошая беднота и сама на ноги встанет! А плохая —вон, как Афоня,—дай ему добро,—все равно без толку сгноит!

Жестко, холодно, брезгливо посмотрел Аким на Афоню, потом на землю—пашет Афоня, как и самый ретивый хозяин, и сказал удивленно:

— Вот новое дело—невиданное, неслыханное... Ежели бы своими глазами не увидел—ни за какие деньги не поверил бы! Ты—лень лежачая, шлея из шлей, трутень из трутней—и так за пашню взялся?

— Возьмешься!—уныло сказал Афоня и указал на свой левый глаз, под которым был багровый кровоподтек.—Вон, он как твой сынок-то, Иван Акимыч, мне вспахал.. Тут по неволе запашешь!

Улыбнулся Аким и голос у него стал ласковый:

— Здорово, значит, съездил! Да за што же эфто он?

— А за то самое... Семяна я на яровые от него получил, а сеять не хотел. Думал—к чему мне? В иные года не сеял, когда сын был, а теперича, когда сына у меня нет—мне и вовсе эфто ни к чему. Ну,—люди посеяли, а я—нет! Просо-то ободрал да на кашу пустил, а овес—лошади оставил. Заголодалась она у меня без настоящего корма: думал—вот и подкормлю. Ну, Иван Акимыч по иному рассудил: опять притащил мне семян и побил больно. А когда бил—приговаривал: „А ежели, мол, и эти семяна изведешь—не то еще будет! Я тебя заставлю посеять... И сей, паши и борони на совесть, а не через пень-колоду валяй... Сам, мол, приду твою пашню смотреть". Вот и пашу, стараюсь! Дюже строг Иван Акимыч. А как отпашусь да отсеюсь—за сени да за тын примусь. И на эфтот счет Иван Акимыч грозился: ежели, мол, в месяц сеней да тына не устроишь—плохо

тебе, мол, Афоня, от меня придется. Ну, я и стараюсь. Боюсь... Больно шибко дерется Иван Акимыч-то...

— Ага!—злорадно усмехнулся Аким:—есть одна русская поговорка... Она хоть и не совсем так говорится, как я скажу: „Сохрани Бог от мора, от пожара, да от нашего брата мужика, ежели он угодит в начальство". Вот ты, Афоня, эту поговорочку-то и запомни, на ус себе намотай, да с другими людьми потолкуй: при старом начальстве-то мол, нас так не увечили!

Помолчал Афоня, почесался в затылке и в спине и, хоть неуверенно и робко, но все-таки ответил:

— Да как сказать, Аким Петрович... Оно не совсем правда... Начальство-то Иван Акимыч, конешно, начальство—придсядатель в Совете! И дюже строг—шибко дерется! Но это што ж... Народ-то каков? Хоть и про себя скажу: не понукнешь—не поедешь.. А Иван Акимыч—начальство-то он начальство—и начальство дюже строгое, но и милостивое: смотрю—зараз мне два мешка семян на плечах прет. Эфто—придсядатель Совета-то! Ну, а от старого начальства где эфто видано, чтобы оно мужикам семян за одно спасибо на себе таскало? Вот насчет мордобоя—это верно: тоже маху не давало!

Побагровел Аким от злости:—Ишь ты... чорт латаный да перелатаный... тоже рассуждает, как умный: „Не понукнешь, мол, не поедешь!" Как были скотами, так значит и остаетесь, ежели так рассуждаете, што без понуканья—не поедете. Значит, кто палку побольше взял—тот над вами и капрал... Так хорошо же... Найдутся капралы и почище „придсядателя Совета"! Увидим, как вы тогда запоете, што скажете...

Ничего не ответил Афоня. Почесался в затылке и спине и опять приналег так на соху—редкий ретивый хозяин так работает.

Посмотрел Аким, плюнул на пашню Афони и пошел от Афони еще более злой, чем до встречи с ним.

И до самого вечера проходил Аким в полях—не замечая полей. Думал все время, разрабатывал „плант", как бороться с Козьмой. И когда возвращался домой, то хотя и не было в нем прежнего властного, крайне самоуверенного и заносчивого Акима, но что-то похожее на прежнее в нем проглядывало. А когда явился Аким домой и узнал от Зиновии только с час назад полученную новость—прискакали из

Грабова два мужика и уверили всех, что хотя Иван Акимыч и сам убит, но прежде, чем его убили, он пятерых кулаков уложил,—разрешил себе Аким, словно на больших радостях, выпить: прежде немного, а потом разошелся и пил почти всю ночь.

А ночь эта в деревне прошла неспокойно. Часам к 11 вечера Федотка-Косой уловил свою дочь Настюху, которая то рвалась в Грабово, но ее не пускали, то металась, как безумная, с плачем по деревне, и начал ее избивать за то, что она опозорила его дом браком „по дехрету“ с таким „бродягой“, как Иван. И не отними Настюху добрые люди—забил бы ее Федотка, пожалуй, насмерть.

Кроме этого, почти до рассвета, толкались по деревне кучки людей. Одни, волнуясь за участь Ивана, ждали—не вернется ли в ночь Козьма со своим отрядом, другие—все кулаки,—принялись уже за темную работу: нагло и дерзко вели речи о том, что всех советских работников надо исключить „из общества“, как злонамеренных лиц, выгнать их из деревни, а на их место поставить старосту—тогда только порядок и спокойствие будут.

Кулаки даже толкнулись было к Акиму, чтобы он указал им, как правильнее действовать, но Аким не принял их, заявив им через Зиновию, что „на эфто день есть!“

Акима мало интересовало, что происходит в эту ночь на деревне. Главное для него было—нет в живых сына Ивана—и возбужденно он развивал пред Зиновией план, как снова захватить власть в деревне в свои руки. Зиновия поддакивала, дополняла план Акима советами от себя—и эти советы так нравились Акиму, что целовал он Зиновию, обнимал, называл „мянистром“, а под утро—стала Зиновия любовницей Акима.

И крепко спал после такой угарной ночи Аким—проспал бы, вероятно, до вечера, если бы около двух часов дня Зиновия его не разбудила.

Никогда Зиновия не терялась—а тут растерянно, сбивчиво, бессвязно передала Акиму, что часов в 10 утра явился в деревню Иван, с ним „жулье“ из Грабовского Совета, а под конвоем этого „жулья“ человек десять „степенных“ людей из Грабова.

А часом позже явился и Козьма—и тоже привел „степенных“ людей человек 15.

В течение каких-нибудь двух часов Иван и Козьма суд чинили; всем, кто ночью речь вел „о старостах“, дали розог от 10 до 25.

А двоих—одного солдата, члена Совета и казначея за то, что ночью украл из Совета тысячу рублей и Федотку-Косого за побои Настюхе порол сам Иван. И порол жестоко: солдата „замертво“ унесли домой, а Федотка хотя и остался „в своих чувствах“, но лишился языка и голоса и уж на все это лето не работник.

— Стон стоял по деревне... Ад кромешный был! А завтра, говорят, еще хуже будет: всех степенных людей из Грабова Ванька с Кузькой, будто, к расстрелу приговорили!—закончила Зиновия.

Молча выслушал Аким Зиновию. И когда Зиновия замолкла—ни единого слова не сказал, а встал с постели, умылся, оделся, причесался и сел у стола. На себя не похож, трясется весь, при малейшем шорохе и звуке, а сидит и ждет, как преступник грозного судью.

И не ошибся—вскоре пришел Иван. Голова белым завязана, правый глаз затек, на ногах от хмеля не твердо держится.

И хоть смотрел одним глазом и во хмелю, видимо, в большом был, а взглянул на Акима и Зиновию и сразу все понял.

— Уж вижу, родитель, вижу: думал, что меня в живых нет и тяпнул здорово, а кстати—и на этой ведьме женился. Поздравляю, родитель!—сказал спокойно и насмешливо Иван.—Ну, а как, родитель, на счет того—отсчитал половину своего капитала для своего старшего сынка? Или и до сих пор не решился расстаться?

У Акима точно язык к нёбу прилип: ни звука.

— Ты у меня смотри...—спокойно было начал Иван, и вдруг ударил кулаком по столу и заорал бешено:—я не посмотрю, что ты мне отец: выволоку на улицу да при всем народе, так тебя нагайкой постегаю—врешь, скажешь, где деньги спрятаны. Мироеды чортовы—закостенели от жадности! Отцы, не отцы—все вы на одну колодку. И чем скорее всех вас извести—тем народу будет легче: мутить некому будет! Ну, говори по доброму: где деньги запрятаны? И теперь уж не половину у тебя возьму,—а все возьму.

Низко наклонил Аким голову и едва слышно ответил:

— Как говорил, так и опять скажу: все деньги свои я убил на дрова. Имею десятка три тыщ—ежели хочешь обобрать дочиста—обирай!

Вынул Аким из бокового внутреннего кармана поддевки бумажник и, положив его на стол,—повторил:

— Обирай!

Посмотрел Иван на отца и, так же быстро, как пришел в бешенство, вернулся к спокойному тону:

— Так ли, родитель? Хорошо. Сделаем так... Я думаю, что деньги у тебя запрятаны дома и завтра я сгоню народ и заставлю, чтобы твое гнездо разобрали при мне по камню. Ну, а если окажется, что деньги у тебя припрятаны не дома, а где-нибудь схоронены в земле—тогда не пеняй, родитель, если я применю к тебе такие меры, что сам пойдешь и укажешь, где твоя кубышка зарыта. До свиданья, родитель!—и пошатываясь на своих длинных ногах, Иван вышел из дому отца.

ГЛАВА XXIX.

Ни на минуту не усомнился Аким, что Иван в поисках денег разрушит его дом и, по уходе Ивана подумал немного и сказал Зиновии:

— Пусть этот, сукин-сын, разбирает дом по камню. А мы завтра с тобой раненько утром уйдем отсюда, куда глаза глядят. Так што ты собери там бельишко какое-нибудь на дорогу. Ну, вещишки, которые подороже да полегче—захвати.

И больше ничего не говорил Аким. Сидел, ходил по комнатам и усиленно о чем-то думал.

Радостно взволнованная собирала быстро и ловко Зиновия свои вещи и некоторые Акимовы.

Потом Аким обедал, после обеда долго пил чай и, хотя молчал, но казался уже совсем покойным.

К полночи ближе Аким заявил, что надо немного заснуть и вдруг как-будто вспомнил—послал Зиновию за какими-то важными бумагами к одному кулаку, который жил на краю деревни.

Ушла Зиновия. Запер Аким дверь, вынул в своей спальне из тайника обитый жестью увесистый ларец, положил его в мешок, приготовленный Зиновией для вещей, взглянул на стены своего дома в последний раз, смахнул рукой с глаз

слезы, потом перекрестился, перекинул мешок за плечи и пошел из дома твердым шагом.

Выйдя из дома, Аким на минуту остановился: прислушался, осмотрелся—было тихо, никого не было видно.

Тронулся Аким. Завернул за угол своего дома, вышел на свое гумно, в двадцати шагах от гумна в сторону—дорога на железнодорожную станцию. Дошагать до станции—час с немногим ходу, в два ночи идет поезд в город и дальше—и на этом поезде Аким решил уехать.

Куда? Аким над этим не думал. Пока—подальше от своей деревни, а там где-нибудь верст за тысячу хорошенько подумает, что ему с собой делать, где осесть на постоянное местожительство.

И только было Аким свернул с гумна на дорогу к станции, как сзади него раздался свист, потом кто-то отделился от стога соломы, подбежал к Акиму, крепко схватил его за руки и пробасил:

— Попался!

И по голосу Аким узнал, что это—Демидка.

Послышался и еще приближающийся быстро голос:

— Попался-таки!

И по этому голосу Аким узнал, что это—Иван Силыч, который, очутившись около Акима, стал подавать через две—три секунды короткий свист.

Аким сразу понял, что попал в ловушку, подстроенную Иваном, и не пытался вырваться, ибо бесполезно было вырываться из рук Демидки, который был очень силен.

Аким только и мог сказать Ивану Силычу и Демидке:

— Эх, вы, июды!

Подбежал Иван откуда-то, вырвал у Акима мешок и сказал со смехом:

— Угадал я. Думаю: дай попугаю родителя, что дом разломаю и, если, мол, деньги у него дома—попрет он сегодня ночью куда-нибудь прятать. Так и вышло. Умен ты, родитель, а попался довольно-таки глупо! Ведь, я уж начинал верить, что и в самом деле больших денег у тебе нет, а поэтому и дома бы твоего ломать не стал. Перепрятал бы ты деньги, если уж боялся, что дом сломаю, куда-нибудь на двор, в землю, а когда увидал, что дом твой цел—тогда-то уж тебя ничем бы не промануть и никакими ногайками не испугать! Но попался. Сглупил немного, родитель! Ну,

ничего. Без денег поживешь, может, опомнишься, а если опомнишься—приходи ко мне, дело дам, вот тогда и поработаешь не из-за денег, а для спасения души. А это тебе очень бы не мешало. До свидания, родитель! Сундучок-то твой тяжеловат, однако!

И пошел Иван от Акима, а за ним со смехом—Демидка и Иван Силыч.

Крикнул Аким с отчаянием:

— Не сын ты мне... Будь ты, анафема, проклят! Ограбил дочиста—так уж убей лучше, штобы мои глаза тебя не видали!

И слышал Аким—не ему Иван ответил, а Демидке с Иваном Силычем, сказал:

— Ну, совсем дурак старый, с ума сошел, если такими глупыми словами пугать вздумал.

И все трое враз засмеялись.

И действительно, хотелось Акиму, чтобы пришиб его Иван на месте. Но он—цел, ибо нет Ивану никакого смысла добивать его. Что же ему теперь с собой делать?

И задумался Аким. И так горько и отчаянно показалось Акиму его положение—и опозорен родным сыном, и обобран дочиста.

И вдруг „ёкнуло" у Акима сердце—да так: без крика, без стона и опустился он на землю и сидел, и ждал, что „ёкнет" еще раз—и это уж будет смерть.

И испугался Аким смерти. То в злобе и отчаянии желал, чтобы пришиб его Иван, а теперь не было ни злобы, ни отчаяния от того, что у него отняты все деньги, а одна лишь надежда, чтобы не „ёкнуло" сердце во второй раз.

Но мало надеялся Аким, что не „ёкнет": сердце как-будто совсем замерло, совсем не билось, но чувствовал Аким, что после такого затишья оно ударится в груди со страшной силой еще раз—и это будет его последний удар.

И затосковал духом Аким, заскорбел, и вся жизнь ему представилась по-иному. Он припомнил, как он видел вчера грачей, важно расхаживающих по пашне поля, небо, землю и понял, что все это он глубоко и всегда любил, а если это любимое всю жизнь видел как-будто мельком, то это его вина: все это любимое глубоко ему заслоняли деньги, о которых он только и думал, только и хлопотал.

Он припомнил, что не так давно, когда Антон своим уходом в отходники заставил его задуматься о своей жизни—тогда он, думая, не мог уловить каких-то вертевшихся в голове важных мыслей. А теперь эти мысли предстали в голове Акима ясно.

Первая мысль—почему это у него, у Акима, так любящего деньги,—вышли такими безсребренниками дети?

И припомнил. Аким далекое: давно, когда его старуха была молодой и находилась в первой беременности Антоном—жена, как-то раз наплакавшись от его жадности к деньгам, сказала, что она день и ночь молит Бога, чтобы ее ребенок ненавидел эти проклятые деньги так, как она ненавидит, что и впредь, когда она будет беременна и другими детьми—она будет молить день и ночь Бога все о том же.

Выходит, что это сбылось! И волос встал у Акима на голове дыбом, когда он сообразил, что Семен, последний сын, и этот последний с младых ногтей своей жизни был такой святой простоты, так не любил денег!

Как же, значит, страдала его жена, если ее желание сбылось до такой степени, как Семен?

Вторая мысль—а если бы дать ему, Акиму, вдесятеро больше, чем он имел, денег, но заставить его жить в четырех стенах, где он никогда не увидит людей, то взял ли бы он эти деньги?

И представилось ясно Акиму, что если бы его при таких условиях посадить в огромный подвал с золотом—он в этом подвале быть не пожелал бы.

Значит, деньги нужны непременно при людях. Но дают ли они счастье при людях? Не родят ли только вражду, зависть, злобу?

И ясно было Акиму: не только вражду, зависть и злобу от всех посторонних людей, но даже и такой распад в семье, какой произошел у него.

Не он ли враждовал со всеми людьми, давил и чужих, и своих?

Не он ли только вчера придумал мрачный кровавый план, от которого должны были погибнуть и Козьма, и все, кто ему стоял поперек на пути к наживе? Не он ли вчера радовался смерти собственного сына?

Все припомнил Аким, все улики против себя, и до ужаса ясно было Акиму, что во всем виновата была его алчность

к деньгам—к этому желтому дьяволу, который привел его к такой позорной гибели!

И безумно хотелось верить Акиму, что, может-быть, не „ёкнет“ сердце еще раз, может-быть, даст ему возможность пожить более чистой жизнью. И рисовалась Акиму эта более чистая жизнь: первым долгом он выгонит из дому эту черную ведьму—Зиновию и пойдет к Ивану, к Козьме, работать вместе с сыном на пользу народу.

И никогда не возьмет денег в руки, как то решил его сын, дурак Семен.

Ночь была темная, теплая, тихая, слышал Аким, как на гумне в соломе шуршали мыши. Потом услышал прежде издалека, потом все ближе и ближе серебряный голос Настюхи. Шла и пела глуповатые слова; „Я страдала, страданула, пошла в Волгу потонула“. Эти глуповатые слова по смыслу должны бы быть страшноваты, но в действительности было: вчера, правда, ночью, Настюха тонула в горе, а сегодня, несмотря на то, что не легко вчера была избита отцом, сегодня она тонула в счастье. Об этом неопровержимо говорили ликующие радостью нотки в ее голосе.

И думал Аким, что дал ли он кому-либо за всю свою жизнь хоть капельку такой радости, какая звучала в голосе Настюхи?

И находил, что никому радости не дал,—кроме желтого дьявола.

...Ждал Аким, надеялся, что, может-быть, не „ёкнет“ сердце, но оно ёкнуло во второй раз—и Акима не стало. Прежде всех открыла смерть Акима Зиновия: хитрая старуха почуяла, что она, кажется, обманута, и всю ночь металась по деревне, разыскивая Акима.

И нашла его рано утром.

Потом собралась около Акима вся деревня и смотрела, как умер первый богатей деревни.

Лежал Аким вниз лицом, а руки его так судорожно впились в землю, точно ни за что не хотели отцепиться от земли, от жизни...

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Вышли в свет:

С. Пушкин. Стихотворения о свободе	Цена 2 р.	— к.
Уайльд. Баллада Редингской тюрьмы	„ 1 „	80 „
гшер Свобода	„ 2 „	— „
Бедный. Каиново наследство	„ 2 „	— „
„ Диво-дивное	„ 4 „	— „
„ Красный казак	„ 2 „	50 „
„ Читай, Фома, набирайся ума	„ 6 „	— „
„ О Митьке-Бегунце и его конце	„ 4 „	— „
„ Всяк Еремей про себя разумей	„ 4 „	— „
„ Мужики	„ 4 „	— „
Окулов. Там, где смерть	„ 4 „	50 „
Варди. Майский праздник коммунизма	„ 1 „	— „
А. Карелин. Злые рассказы про евреев	„ — „	50 „
саткин. Лесная быль	„ 4 „	— „
Фабих. Бабья деревня	„ 2 „	40 „
Ф. Васильченко. Речи тихого Дона	„ — „	60 „

В ближайшее время выйдет ряд новых изданий.

запросами и заказами следует обращаться на книжные склады

Государственного Издательства:

Москва: Тверская, 11, Тверская, 28 (уг. Советской пл.).

Петроград, Фонтанка, 61.